



Как *Магда
Алексеева*

жаль,

что *Проза,
мемуары*

так

ПОЗДНО,

Париж!

Магда Алексеева

Как жаль, что так поздно, Париж!

текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67452200

Магда Алексеева. Как жаль, что так поздно, Париж!: АСТ: Редакция

Елены Шубиной; Москва; 2022

ISBN 978-5-17-146218-5

Аннотация

Магда Алексеева (1931–2020) – прозаик, поэт, журналист, лауреат премии «Золотое перо». Дочь репрессированных родителей, она родилась в Москве, на Ольховке, окончила Московский университет. Переехав в Ленинград, стала настоящей петербурженкой, здесь начала писать стихи и прозу, приобрела известность как журналист. Высокий профессионал, легендарная личность – так говорили о ней и коллеги, и авторы газет и журналов, которыми она руководила. Хранитель и свидетель времени, его талантливый летописец – такой она предстает в книге прозы и мемуаров «Как жаль, что так поздно, Париж!».

Содержание

Как жаль, что так поздно...	5
«Возлюбленные наши не оставляют нас...»	8
Попытка вспомнить	14
От автора	14
«Я из Москвы тридцатых годов...»	15
Попытка вспомнить	19
Конец ознакомительного фрагмента.	165

Магда Алексеева

Как жаль, что так поздно, Париж!

© Алексеева М.И., наследники

© Рост Ю.М., предисловие

© Тимофеева О.В., вступит. статья

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

«Ее текст пушкински прост и точен. Русский язык чист и светел. Вам повезло с этой книгой».

Юрий Рост

«Проза Магды Алексеевой – это наблюдения за жизнью, а не за бытом. Быт разный, жизнь – одна. И, как сама жизнь, искрится молодым весельем, надеждами, женским кокетством, мужской иронией».

Ольга Тимофеева

Как жаль, что так поздно...

Этот заголовок я легко заимствовал у человека, о котором хотел бы не написать в предисловии к ее замечательным (сами убедитесь!) текстам, а сказать тост.

«Как жаль, что так поздно, Париж» – так назвала свою книгу мой любимый друг, редкого (оба значения слова верны) дарования и безусловного обаяния Магда Алексеева – писатель, журналист, умница, отважная и прекрасная женщина.

С ней было сразу легко. И без усилия возникало взаимопонимание настолько объемное, что не всегда требовалось завершить фразу, чтобы донести мысль.

Была бы мысль. Она узнавала ее невероятным чутьем и доброжелательным (строгим при этом) умом своим.

Дочь репрессированных (отца расстреляли, мать посадили), она из эвакуации со старшей сестрой Илоной вернулась в Москву, где жадно и весело самообразовывалась в компаниях сверстников из интеллигентных семей, населявших коммуналки, и, закончив факультет журналистики МГУ, стала продолжателем дела отца, журналиста, редактора, венгерского политэмигранта.

Магда не только писала по-русски блестяще, но и редактором оказалась от Бога. Многотиражка «Скороходовский рабочий», которую возглавляла Алексеева, была популярна в

Ленинграде и привлекала молодых одаренных журналистов. Став известными и матерыми, они продолжали чтить ее как безусловный и не подверженный времени и обкому КПСС авторитет. За годы своего редакторства в разных питерских изданиях она бывала не раз бита. Но не согнута.

Произнося тост за Магду, я, может быть, отдельным стаканом выпил бы не только за ее профессиональный, но и личный выбор. За ее мужа Бориса Алексеева – известного питерского философа, обожаемого студентами не только за образ мысли, но и за образ жизни. До последних дней он ездил на своем гоночном велосипеде километров по сто с лишним в день. Иногда, правда, по погоде пропуская тренировки. Не часто.

Это был человек тонкого, почти скрытого юмора, огромных знаний и счастливой любви.

Им было хорошо вдвоем, какое бы состояние мира не примазывалось к ним. Их жизнь включала важнейшую составляющую – беседу. Бесконечную, неповторяющуюся, доверительную беседу.

И ничего удивительного в том, что, когда Борис ушел из этой жизни, Магде ничего не оставалось, кроме того, чтобы последовать за ним.

Как жаль...

Хотя прожили они все-таки изрядно и повидали немало – только на мотоцикле полстраны объездили.

Теперь я не стану пересказывать подробности их жизни. У

вас в руках книга Магды Алексеевой. Откройте и общайтесь с ней. Вас не затруднит. Ее текст пушкински прост и точен. Русский язык чист и светел.

Читайте, а я выпью рюмочку за Магду, раз тост. Как бывало.

Юрий РОСТ

«Возлюбленные наши не оставляют нас...»

Конечно, до смерти жалко, что эта книга не вышла при жизни автора, а те, что выходили, не поставили имя Магды Алексеевой в тот заметный ряд, который она заслуживает. Гадать, почему так *случилось*, теперь так же бесполезно, как сожалеть о *неслучившихся* чудесах. Утешает одно: история литературы в конце концов все расставляет по местам. Литературоведу полезно разбираться в том, почему одни авторы вдруг занимают верхнюю полку, а другие, большего дарования и значительности, теряются в толще книжных развалов. Один ответ очевиден. Для читательского успеха писателю важно не только совпасть со временем, оказаться в нужном пространстве, но найти зоркого издателя и заинтересовать чуткого критика. Везенье – статья особая, учету не подлежит. Вот исторические события играют роль – иногда первостепенную. Мы помним, сколько отверженных имен вернула читателю журнально-издательская волна, поднявшаяся в перестройку. Я не сравниваю издание книги Алексеевой с переизданиями забытых, затоптанных, замолчанных советской властью писателей, хотя у Магды были свои счета с этой властью. Здесь важно другое: бывает, что заново открытые имена хотя и с опозданием, но прочно входят в читательское

сознание. Будем надеяться, что это именно тот случай. Почему?

Чем важна эта книга именно сейчас? Мне кажется, она, не затрудняясь никакими идеологическими задачами, ясно, чисто, честно отвечает на вопрос: почему унылые, безмолвные, пугливые 70-е годы стали так притягательны для нынешних поколений, почему мы живем с оглядкой на давно, казалось бы, пережитое? Ну, не все же такие идиоты, чтобы скучать по цензуре, комсомольским значкам, очередям и железному занавесу! Значит, было в них нечто, что проросло сквозь ошеломительный конец 80-х, воодушевленные 90-е, хаотичные 2000-е и отозвалось ностальгией в наши безнадежные дни. В России всегда слово было важнее дела, точнее, оно и было делом. Эпоха высказывалась голосами героев прозы и строчками поэтов, иногда громко, как в 60-е, иногда тихо – маятник общественного развития неуклонно раскачивается от оживления к застою, от прогресса к реакции, от надежд к безверию. И даже когда слова были лживы – циничные пропагандисты пользуются тем же алфавитом, – именно слова оставались единственным способом существования. И после разгрома Пражской весны ушедшие со страниц жарких дискуссий вглубь документов, писем, дневников, исповедей, они сохранили достоверность в документальной прозе, счистившей с литературы пафос и фальшь.

Интеллигенция потерпела поражение. Пришло время подумать. И герои Магды Алексеевой все время думают,

несмотря на то, что «веселая наглость юности позволяла нам попирать очень важные основы жизни. Это был какой-то всеобщий грех бездумности». Да, дочери и сыновья репрессированных пытались жить так, как будто нет тяжести обстоятельств и можно парить над реальностью. Но «Московский роман» потому и настоящая проза, что здесь строки и строфы стихов движутся по точным орбитам, рисуя линию жизни. С ее страхами, тяжелым бытом, запутанными отношениями, влюбленностями, предательствами, весельем и стихами. Бродский говорил, что «нация должна получать нравственное, поэтическое мироощущение». Книга прощита, пронизана поэзией; Магда писала прозрачные, гармоничные стихи, возникавшие из осенней хмари и весенних надежд, из любовных мучений и жизненных неурядиц, – полет души сквозь твердую, лаконичную прозу.

Ее биография началась в студенческие 50-е, когда с первым движением оттепели поэзия стала и вином, и хлебом. И, как ни странно, поэтическое мироощущение, вытесненное нашим прагматическим временем, – это то, по чему тоскует измочаленная цинизмом, враньем, стяжательством душа нынешнего взрослого человека. «Разве время проходит? Это мы проходим. Как верно сказано, как безысходно и печально».

Ах, что было делать?

Шли дожди.

Московский ноябрь, плохая погода.

«Замерзла?» – «Не очень». – «Не уходи».

Такое проклятое время года!

Сумерки – горькое время дня.

Помни меня.

Не забудь меня.

Времена всегда перекликаются. И как постхрущевские рифмуются с горбачевскими, так наши, застойные, опрокидываются в 70-е. «Читать Маркса и Ленина, просиживать в библиотеках, спорить, попивая сухое вино, а иногда – водку, изучать статистические справочники и снова спорить, спорить, спорить в дыму сигарет. Кто из них думал, что это кончится тюрьмой?»

Но дело даже не в исторических параллелях. Желание понять, откуда взялись духота, угрюмость, задерганность нынешней жизни, как всегда, или, по крайней мере, до сих пор отправляет к литературе – в данном случае, литературе 70-х годов. А стоящая литература не косит в одну сторону. Книга Магды Алексеевой объемна, как сама жизнь, она тягостит, но и искрится молодым весельем, остроумием, надеждами, женским кокетством, мужской иронией. «Почему меня так занимает поколение 30-х годов. Особенно женщины, которые на смертельно опасных сквозняках умудрялись оставаться прелестно легкомысленными?» Если и есть в книге некоторая избыточность, то она в пристальной подробности жизненных хитросплетений и в обилии персонажей. Жизнь

была длинной, личность – невероятно притягательной, вокруг нее клубился народ, начиная с немецкой группы, куда Магда пошла в свои четыре года и нашла подружек на всю жизнь, до редакций знаменитых ленинградско-питерских газет, давших ей уникальный материал для романов.

Надо сказать, что сборник составлен издательством с большим смыслом. Документальное повествование – благо отчетливая мемуарная память при нынешней любви к воспоминаниям добавит внимания к книге – перемежается мастерскими рассказами. Их откровенные сюжеты, замешанные на драмах, страстях, комических ситуациях, оттеняют философическую сдержанность мемуаров. Недаром несравненный драматург Александр Володин, прочитав прозу Алексеевой, сказал: «Это моя жизнь с 30-х годов, когда тебя еще не было, до сегодняшних дней, когда я еще есть. Среди каких прекрасных людей жила ты! Ошеломительная книга, ее все должны прочесть. Там так много сказано, так много...»

Еще и поэтому книга по-настоящему современна, – это наблюдения за жизнью, а не за бытом, поэтому касаются каждого; быт разный, жизнь – одна.

И Магда Алексеева умела подслушивать жизнь, слышать то, что не слышат другие, замечать детали, на которые другие не обращали внимания. Возможно, потому, что по факту своего рождения и семейной биографии она была «другая». Об этом пронзительная повесть, посвященная отцу, «Живи-

те долго». Венгерский подпольщик, три раза бежавший из-под ареста, в 24 года прорвался в Москву, чтобы строить новую жизнь. И как по писаному – арест, тюрьма, смерть. Жена, пошедшая по этапу, оставшиеся две дочери с иностранной фамилией и нездешней внешностью. Другие.

Все темы, которые тогда волновали не скажу всех, но многих – репрессии, эмиграция, цензура, диссиденты, закрытые границы, привилегии, социальная несправедливость, – вам это ничего не напоминает? Неудивительно, что книга, где эти темы осмыслены «здроаво смотрящим на жизнь человеком» (как называл Толстой Фета), пропущены через умное сознание соучастника и рассказаны с художественным блеском, попадает в самый нерв сегодняшней жизни, давая надежду, что и это пройдет... Что будем мы живы, будем и веселы.

...Но куда девать боль от непризнанности? «“Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед” – это не про меня». Никто про себя ничего не знает. Черед настал.

Ольга ТИМОФЕЕВА

Попытка вспомнить

От автора

Легко ли рассказать собственную жизнь? Казалось бы, ну что тут сложного: вспоминай и записывай. Но чем больше погружаешься в такое «записывание», тем дальше и неразличимей становится горизонт.

Написав первую в предлагаемом сочинении фразу, я уже знала последнюю: «Когда же мы вернемся?» И знала ответ: никогда.

И все же «житейские записки», как определяет мемуары словарь Даля, позволяют если не вернуться, то хотя бы оглянуться, вспомнив лица, имена и даты. Не всё, разумеется, вспомнить и не всех, кого помнишь, назвать...

Да простят меня не названные здесь.

«Я из Москвы тридцатых годов...»

Так написала в своих стихах моя сокурсница по университету, и я могла бы сказать о себе то же самое.

Я родилась в Москве, на Арбате. Мой отец – Йозеф Грейнер – был венгерским политэмигрантом. Восемнадцатилетним он участвовал в Венгерской революции 1919 года, работал в подполье, был арестован и в 1924 году приехал в Москву вместе с другими венгерскими коммунистами, которых обменяли на военнопленных из австро-венгерской армии.

Мама – Эмилия Иеронимовна Гекк – родом из Николаева, ее отец, мой дед, владел имением в Херсонской губернии, его предки – немцы и французы из Эльзаса – жили в России с XVIII века. Перед революцией мама училась на Бестужевских курсах в Петрограде, а потом в Москве в Брюсовском институте.

Они встретились и поженились в 1926 году, отец уже хорошо знал русский (кроме того, английский и французский), но дома они чаще всего говорили по-немецки.

Когда мама написала своим родителям, что вышла замуж за коммуниста, мой дед вместо благословения прислал ей едва ли не проклятье. Мама, читая письмо, плакала, а отец утешал ее и говорил: «Может быть, я им понравлюсь...» Так и получилось, дед потом безмерно уважал своего зятя.

Отец учился в Институте красной профессуры, стал жур-

налистом, работал в «Гудке», блестяще писал и даже одно время собирался защитить диссертацию по каким-то специальным вопросам транспорта. У мамы начали выходить книги в ее переводах с немецкого – Генрих Манн, Бруно Травен...

Я часто думаю, как они жили в те годы под дамокловым мечом террора? Растили детей, ходили в гости... В кругу знакомых были писатели Зарудин, Иван Катаев, Пильняк – все погибли в ГУЛАГе.

Приехав в Советскую Россию, отец очень быстро во всем разобрался, презирал «тонкошеих вождей», резко критиковал партийную политику. «*Man wird dich verhaften*» – «тебя арестуют», – с ужасом повторяла мама. И его, конечно, арестовали, но это случилось позже, в 42-м году. Мне было десять лет, когда я в последний раз видела своего отца...

Судьба хранила нас, меня и мою сестру Илону, детей «врага народа», нас не выслали, не посадили, хоть эта опасность, не замечаемая нами по молодому легкомыслию, сторожила таких, как мы, в послевоенной сталинской Москве.

Мама же, мучимая страхами, всегда боялась за нас и заклинала меня не идти учиться туда, куда я после школы собралась. Она писала об этом осторожно, намеками в своих письмах из лагеря, где отбывала срок и откуда вернулась еще до смерти Сталина.

И все же я пошла вопреки ее наставлениям на факультет журналистики Московского университета, а закончив его,

уехала в Питер к мужу. Потом сюда же перебралась и сестра с маленькой дочкой, и мама.

Сестра, так же как и мама, избрала своей профессией иностранные языки, а моя племянница Марина стала журналистом, и теперь уже ее дочь Настя учится на факультете журналистики в университете. С Петербургским университетом связана вся жизнь моего мужа – Бориса Алексеева, он был здесь студентом, аспирантом и сейчас доцент философского факультета.

В его семье всегда со спокойным неуважением относились к власти, дважды отнявшей все нажитое великими трудами. Елена Ивановна, моя свекровь, чьи сдержанность и благородство были истинно петербургскими, рассказывала, как они с мужем, вернувшись из ссылки в коммунальную квартиру на Васильевском острове, вошли в комнату и сели на дрова – больше ничего у них не было...

Почти все из поколения наших родителей ушли из жизни до общественных перемен, не подозревая, как, впрочем, и мы, что они вот-вот грянут. Советский строй казался незыблемым, как стена. Но, видно, недаром классик пророчествовал (по другому, правда, поводу): стена, да гнилая – ткни, и развалится.

Всю свою жизнь до недавнего времени я писала стихи, но никогда не пыталась их опубликовать. И прозой, можно сказать, занялась случайно, после того, как в 1982 году Ленинградский обком партии выгнал меня из журнала «Аврора».

Я уехала тогда на два месяца в Эстонию и написала «Московский роман», а мои друзья показали рукопись Анатолию Стреляному, он был редактором в издательстве «Советский писатель».

И все же главной моей профессиональной любовью была и осталась газета, хотя мне и не слишком повезло в питерской журналистике: все тот же обком по не менее курьезному поводу снял меня когда-то с должности главного редактора областного еженедельника, после чего я и оказалась в «Авроре»...

Тогда это воспринималось как драма, сейчас – как смешные, нелепые истории, характеризующие время. Главное, что «стена» все-таки развалилась, и это случилось при нас.

1999 г.

Попытка вспомнить

*...и где со шпилья ангел золотой,
всё улета́л на юг и не сумел.*

В. Соснора

Южная Финляндия – это петербургский Север. Высокие сосны, разлапистые ели, черемуха в три обхвата, рябины, рябины... Все они машут тучам: до свиданья, летите мимо, не закрывайте солнце. Но и без солнца день в Яппиля прекрасен, потому что зелень изумрудно свежа, спрыснутая дождем. И тишина, и одиночество, и длинные мысли, тягучие, как сны.

О чем эти сны?

Мне было девять лет, когда началась война. Та война, Великая Отечественная. Поспешный отъезд с дачи, где были такие замечательно отлогие песчаные косогоры в Мякинине над Москвой-рекой и какие-то увлекательные игры в этих пещерах-косогорах. Ощущение прерванной игры еще долго мучило и в Москве, где уже начались бомбежки-тревоги, и в поезде, мчавшем нас в неведомую эвакуацию. Впрочем, это сильно сказано – мчавшем. Он тащился и тащился, застревая на станциях, пропуская на запад и восток другие важные поезда с солдатами, пушками, а иногда – с заключенными. Вся страна поднялась и куда-то едет. Мы-то едем в Киргизию, подальше от войны, но каким оно будет – это «подаль-

ше» – никто не знает.

Мне девять лет, и я-то уж конечно не знаю, что Москва, оставшаяся позади, навсегда со мной, сколько бы я ни приезжала-уезжала, и что бы ни происходило, и как бы ни менялась жизнь и я сама, и сколько бы лет ни прошло, всегда – Москва, она в составе крови, и это неотменяемо и неизменно, как дыхание.

А как она сама-то изменилась, боже мой! Вернее сказать, как ее изменили! Все меньше в Москве моей Москвы. Но ведь и жизни все меньше.

* * *

Это рысьи глаза твои, Азия...

А. Ахматова

В Пржевальск мы приехали под Новый, 1942 год. Стужа, снег, мы летим на розвальнях от пристани, куда нас по замерзающему Иссык-Кулю доставил теплоход «Киров». От озера до города двенадцать километров, лошади резво бегут по скрипучему снегу под яркими зимними звездами. (Через сорок четыре года, в 1986-м, я снова проехала по этой дороге. Но не на санях, а на «Волге», и не зимой, а теплым осенним днем. Через сорок четыре года!) Зимы в Киргизии снежные и суровые. Ослепительные солнечные снега под си-

ним небом и ослепительно-снежные вершины Тянь-Шаньских гор. Все странно, все не наше, а еще мы не знаем, какая здесь весна, какое лето, как цветет урюк и шумят тополя! Белоствольные тополя – только там есть такие.

Эвакуированные – особая каста. Детское сознание непостижимым образом это моментально усваивает: к нам относятся не как к людям, а как к эвакуированным. «Базированные», «понаехали», «бери хворостину и гони жидов в Палестину». Это повторяется вновь и вновь, на разные лады. Особенно неистовствуют здешние мальчишки. Не со зла, нет. Просто считается хорошим тоном поиздеваться над приезжими. В классе два брата (узбеки) ползают под партами и хватают за ноги – страшно! Вообще многое страшно. По пыльной жаркой улице бежит ишак, как взбесившийся, и никого рядом, только пыль из-под копыт.

Постепенно возникает и устанавливается быт. Ишак, кизяк, дувал, арык становятся бытом, как когда-то Ольховская улица, Красносельское метро, Трубниковский переулок, где в большом сером доме жила бабушка, не говорившая по-русски.

По выходным дням мы с папой должны были приезжать к ней в гости. Она кормила нас обедом и строго спрашивала: «*Ist die Suppe fein?*»

Теперь бабушка живет с нами в Пржевальске, на улице Кирова, 24, в доме под зеленой крышей, именуемом «Лекрас-трест». Длинная деревянная галерея тянется вдоль

дома. Выходя на нее, бабушка (ее полагается называть *Grossmutter*) кричит нерусским голосом: «*Ilonka!*»

Именно так: «Ильонка» – и мне стыдно перед ребятами, которых зовут обыкновенно: «Маша», «Таня», стыдно за то, что мы не такие, как они – с непонятными именами, да еще «вакуированные». Я злюсь на бабуку, когда она кричит: «Ильонка!» Разве нельзя сказать «Илонка»? Почему-то именно этот мягкий знак после «л» мне особенно неприятен.

Подозреваю, что мама не любит свою свекровь, но виду не подает. Первый жизненный урок: молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты свои.

Моя сестра Илонка на три года старше меня. Когда я была маленькой, то называла ее Вавой. Потом она пошла в школу, и мне сказали, что теперь ее нельзя называть Вавой, она уже выросла, и я должна научиться говорить «Илона». Мне неловко, я стесняюсь, и выросшая сестра становится немного чужой. Потом это проходит.

В Пржевальске после зимних каникул я иду в третий класс. Моя парта у окна, и на одном из уроков я, глядя в окно со второго этажа, вижу, как по улице мимо школы идет мой отец. Заложив руки за спину (он всегда так ходит), медленно идет, что-то обдумывая.

Почему-то именно это так ярко остается в памяти, как, заложив руки за спину (тюремная привычка!), он идет мимо школьного окна, из которого я гляжу на него.

Отец – человек героический. Но тогда я этого еще не знаю,

это открывается мне потом, когда его уже нет на свете. В Москве, куда он вернулся, его ждал арест, ГУЛАГ, Воркута, расстрел. А спасенные им Болгар, Бебрич, Рудаш после войны благополучно вернулись в Венгрию. Болгар – дипломат, был венгерским послом в Англии, Рудаш – философ, в Будапеште есть улица его имени, Бебрич стал министром... Никто из них ни разу про нас не вспомнил: как они там, дети Йожи Грейнера? Ведь потом у них и мать арестовали. Как они там, одни?

Отец спас этих венгров, взяв их в эвакоэшелон, куда был назначен начальником, и увезя подальше от Москвы, где их наверняка ждала бы та самая страшная участь, что постигла его самого. Они были старше отца, осторожней, опытней. Возможно, они советовали ему: «Не возвращайтесь, оставайтесь здесь». А ему, по-видимому, несвойственно было чувство самосохранения, чувство опасности. Иначе не ввергся бы он сломя голову в венгерскую революцию 1919 года в свои семнадцать-восемнадцать лет! И потом в революционное подполье и в побеге из тюрем – будапештской, берлинской, пражской.

Но – не из советской.

* * *

Мне на плечи кидается век-волкодав...

Отец уехал, а мы остались. Наступила весна, бурная, разноцветная, душистая. У меня уже есть подруга, первая и на всю жизнь Ее зовут Инна Руденко, она и ее семья – эвакуированные из Полтавы. У нее двухлетняя сестренка Лина, ее то и дело бросают на нас, и нянчить ее – наша обязанность.

В Москве у меня тоже была подруга, с которой мы ходили в немецкую группу, а потом в школу, в первый класс. Во втором меня зачем-то отправили в санаторий, где я ужасно страдала от одиночества, плакала по ночам, хотела только одного – домой. И это почему-то считалось укреплением здоровья.

С той московской подругой, Наташей Вернандер, мы еще не успели связать себя секретами, тайнами (все это будет потом, потом...), ведь только общность тайн и составляет девчоночью дружбу.

С Инной у нас куча общих тайн: во-первых, мы влюблены в мальчика по имени Аркаша, во-вторых, мы читали книжку «Синяя говядина»¹, а там про такое написано! Мы вообще очень много читаем – все подряд, и, когда вырастем, будем писателями. Мы придумали «общество любви», мы сочиняем пьесу, мы написали заметку «Дочери Родины» и храбро отнесли ее редактору газеты «Иссык-Кульская правда»...

Через год Инниного отца переводят на работу во Фрунзе,

¹ Речь идет о романе Бориса Четверикова («Синяя говядина». Харьков, 1927), повествующем о быте и нравах дореволюционной уфимской гимназии.

и это расставание – первое осознанное горе моей жизни.

Между тем жизнь мчится и мчится. Я вижу себя стоящей на мостике, перекинутом через арык, где моя одноклассница по имени Мэла (Маркс, Энгельс, Ленин?) читает стихи, от которых во мне начинается тихонечко что-то звенеть и кружиться.

Подписан будет мир, и вдруг к тебе домой,
К двенадцати часам, шумя, смеясь, пророча,
Как в дни войны, придут слуга покорный твой
И все его друзья, кто будет жив к той ночи...²

Стихи для меня – совсем не новость. Во-первых, я сама все время сочиняю какие-нибудь стихи, во-вторых, мама читает нам и Пушкина, и Лермонтова (мама больше всего любит Лермонтова), и Есенина, и «Зою» Алигер. И когда однажды ночью у меня разбалчивается зуб, я, чтобы заговорить боль, повторяю и повторяю лермонтовские строчки, уткнувшись в подушку:

...Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых,
И дышит непонятная...

² Стихи К. Симонова.

И боль утихает, представьте, утихает, но тогда я еще маленькая, в классе четвертом, должно быть, а на мостике у арыка я, слушая Мэлу, ощущаю себя почти взрослой, и взрослые страсти симоновских стихов кружат мне голову предчувствием таинственной взрослой жизни.

Много чего еще случится с нами, прежде чем мы совсем повзрослеем. Мы остаемся без мамы, ее уводят по этапу, и какие-то люди говорят нам, что этап в такой-то день погонят на пристань (именно так – погонят). И вот мы встаем рано-рано, Наталья Елисеевна, наша хозяйка, у которой мы снимаем комнату, будит нас, и мы по еще темным улицам торопимся к тюрьме, от которой погонят этап.

Вот он, этап, выходит из тюремных ворот, и в каком-то из рядов – мама. Все время оборачивается на нас, мы бежим следом, этап идет быстро, мы бежим, бежим, а мама машет нам, чтобы мы остановились, отстали, мы бежим, а она машет.

Ничего не помню страшнее.

Через пять с половиной лет она возвращается. Мне уже восемнадцать, уже целая жизнь, в которой она не участвовала, разделяет нас. И я, к ужасу своему, все время сбиваюсь на «вы», обращаясь к ней. Но и это проходит.

Вот как странно: всё, оказывается, проходит, чему быть должно пройти. Доверься жизни: она всё и всех расставит по

местам.

Мое место (еще раньше, чем возвращается мама) – в Завидове, на 101-м километре от Москвы, где селятся ссыльные, лишённые права жить в столице. Одна из «лишённых прав» – наша тетя Лиза, мамина младшая сестра, тоже отсидевшая свое и теперь живущая в этом самом Завидове.

А маминым местом, когда она вернется, станет Муромцево, это под Судогдой, на Владимирщине, где мама устроится преподавать немецкий в лесном техникуме.

Из-за немецкого-то все и происходит. Из-за немецкого, венгерского. Мы – изгой. У нас не только «не те» имена, но и национальности «не те». Немцы, венгры – кому они тут нужны?

Впрочем, глупости это. В Завидове и русских ссыльных полно. Вот Ксения Николаевна, с которой дружит моя тетя Лиза и которая необычайно нравится мне, – русская. «Я обожаю Шостаковича, он завораживает меня», – говорит она, вернувшись из Москвы, где живет ее сестра-генеральша и сын Юра, мой ровесник. В Москве – Большой зал Консерватории, без которого для Ксении Николаевны и жизни нет.

«Восемь лет без музыки – пытка», – говорит она, смеясь.

Восемь лет – это ГУЛАГ, тюрьма, лагерь. И об этом-то вот так, смеясь, шуря красивые глаза: «...без музыки – пытка».

Осенью 1947 года я иду в завидовскую школу, в 9-й класс. За окном дождь и серые мокрые избы, а во мне ничего, кроме одиночества и отчаянья. Мне так хотелось остаться в

Москве! Но у меня, хоть я и не ссыльная, нет никакого права жить в столице. У Илонки – есть: она поступила на подготовительные курсы в иняз, значит, у нее будет справка, по которой ее пропишут к дяде Пете, бывшему мужу нашей тетки. Мы не сразу понимаем, что он – бывший, но про справку понимаем сразу. Волшебное советское слово – справка! Без справки – никуда. Без нее одна для меня дорога – в серое дощатое Завидово.

* * *

Но погоди, это все впереди,
Дай надышаться Москвою.

Б. Окуджава

Я езжу из Завидова в Москву по праздникам и на каникулы и однажды привожу с собой свою школьную подругу Клаву Артюхову. Живя в ста километрах от Москвы, она никогда не была в ней и пугается всего, как деревенская лошадь. Это она так говорит о себе.

Дядя Петя терпит и меня, и Клаву, и, уж конечно, Илонку. Мы же по молодому эгоизму вообще не замечаем этих жертв и не любим, когда он дома. «Сидит и давит», – говорим мы, молодые идиотки. Ничего не желаем понимать, кроме своей молодой чепухи. Не понимаем, как много в нем благород-

ства, бескорыстия. Из уважения к нашим родителям, с которыми он был родственно дружен и которых теперь нет с нами, он кормит и поит племянниц своей разведенной (по ее, кстати, инициативе) жены.

Не знаю никого, кто бы мог вот так.

Москва меня оглушает. Мне даже кажется, что я начинаю плохо слышать. «Что с тобой? Почему ты мне не отвечаешь? Ты что, не слышишь?» – сердится тетя Лиза. Я не слышу, я оглушена Москвой. Когда меня увезли, мне было девять, а сейчас – пятнадцать. В Пржевальске даже машина была редкостью, все больше лошади да ишаки, дрожки, телеги. И шум тополей. А здесь!

Мне не просто нравится всё – я начинаю всё узнавать: Арбатское метро, улицу Воровского и Красносельскую, и Ольховку. Какая-то прапамять просыпается во мне – это мой город, хоть нет для меня в нем места и я навсегда бездомна в нем.

Как же мы ориентируемся в ужасе окружающей жизни? Как это мы живем как ни в чем не бывало посреди разоренной страны, квартиры, семьи? Едем на Даниловский рынок продавать папин овчинный тулуп, в котором он когда-то ездил по заволжским колхозам. Это было в начале тридцатых, мы жили на Волге, куда отца послали редактором газеты в немецкую республику, где ответственным секретарем был отец Альфреда Шнитке.

Уже нет никакой немецкой республики, уже всех немцев

Поволжья давно сослали в Казахстан, и отца уже давно нет, а тулуп цел, и мы едем его продавать. Тетя Лиза радуется: выручим деньги – купим Илонке пальто. А вырученные деньги на другой день превратились в копейки, потому что неожиданно (во всяком случае, для нас) грянула денежная реформа.

Из завидовской темноты (электричества в наших домах на 2-й Рабочей улице еще нет) Москва представляется мне в недостижимом блеске. Другая жизнь. Чтобы быть к ней причастной, надо после 10-го класса поступить в университет. Никто не останавливает меня в моих непомерных амбициях. С моей-то национальностью – венгерка, с репрессированными родителями – на факультет журналистики в МГУ?!

...Конечно, меня не принимают, и я возвращаюсь из всегда отвергающей меня Москвы обратно в Завидово.

Опять дожди и серые дощатые заборы, опять школа, в которую я иду работать старшей пионервожатой. Все мои одноклассники разъехались, все где-то учатся, одни – в Москве, другие – в Твери. Ну а я? Почему же я все еще здесь? В этой полутемной избе на самом краю поселка?

В детстве и даже в юности время никакой ценности не имеет. Ну идет оно, ну и что? Скорей бы прошло!

Все главное – там, за горизонтом, добежать бы до него.

В первое лето своего возвращения мама устраивается (и нас с сестрой устраивает) на работу в пионерский лагерь «Го-

лубые дачи», что на станции Подушкино под Москвой. Там я неожиданно обретаю новых друзей и среди них – Лену Шаламову. Лена живет в Чистом переулке у своей тетки, а ее мать в другом месте и только приходит в гости. Однажды она рассказывает мне, девочке, о своем муже, Ленином отце Варламе Шаламове. Понизив голос (соседи!) – о том, что он «в тех местах», о том, что он – поэт. И дает читать его стихи. Все так таинственно и странно, и потрясает своей тайной, и я ощущаю какой-то трепет перед Леной и ее матерью и перед ее никому тогда не известным отцом.

Лена влюблена в Вовку Савицкого. Вовка и его старшая сестра Галя и еще Лешка Гончаров живут на улице Воровского, в доме, где спортбаза «Спартак» и где есть сад с балюстрадой. Их дом и еще один, огромный серый по другую сторону улицы, где жил Юра Смирнов, теперь всякий раз, как я прихожу сюда, возвращают меня в то лето, в «Голубые дачи» и во всё, что было потом.

Дома, как полузабытые старые мелодии или едва уловимый запах, имеют свойство возвращать нас в прошлое.

* * *

И хоть не стал поэтом я,
Любил я эту жизнь.

Во все времена поэты были рядом. Имею в виду не только разных знакомых поэтов. Вообще поэзию имею в виду. Во всякие дни, веселые и горестные, стихи, как никто и ничто, помогали жить.

В тот день всю тебя от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок...

Это еще в Пржевальске, в те дни, когда забрали маму, я тогда еще Пастернака не знала, а строчки эти вычитала в статье Маяковского «Как делать стихи»:

Таскал за собой...

(именно так, с ошибкой, как я потом поняла, было у Маяковского)

...и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.

Сама удивляюсь: почему это помогало? Лермонтов заговаривал зубную боль, Пастернак заговаривал горе. Никогда не постичь волшебства стихов.

...Журналистика, журналистика. Почему журналистика?

Как это человек, проживший на свете всего семнадцать лет, что-то такое угадывает в себе и начинает смутно, не разбирая дороги, к чему-то двигаться?

Вот я иду к Засурскому, он – замдекана отделения (еще не факультета) журналистики, и прошу его перевести меня с русского отделения филфака, на которое я поступила, к себе.

«Зачем? – искренне удивляется он. – На русском-то и есть настоящее образование». Но меня манит слово «журналистика», а все эти соображения о настоящем образовании – полная ерунда. Засурский – молодой, вихрастый, в тяжелых роговых очках. И должно быть, думает про меня: еще одна дура. И – прав.

А тот, первый, еще не вполне осознанный выбор определяет потом судьбу. Если бы я не попала на журналистику, многое в жизни сложилось бы иначе. Так прав был Засурский или не прав? Этого уже не узнать, как не прожить другую жизнь.

Уехав из Завидова, я вдруг начинаю жалеть о нем. Почему? Даже пишу в стихах, обращенных к Клаве: *«...с твоего дощатого порога виден мир, какому нет цены».*

В местах, в которых жил, оставляешь часть себя. Может быть, по себе и тоскуешь, по той, что оторвалась от тебя и осталась там?

То же самое и на некогда знакомых улицах. Разве я, прежняя, не осталась вот на этой улице, которая снова называется Поварской?

Улица Воровского

Когда шел дождь, то было слышно, как он шлепает по листьям, устилавшим двор. Я помню этот двор, обнесенный высоким забором, большие старые деревья, круглую деревянную беседку справа от крыльца.

Переулок потом назвали улицей, по ней проложили трамвайные рельсы и снесли зеленый особнячок, в котором жил митрополит Николай Крутицкий и Коломенский. Он был человеком знаменитым, но утрам в переулок въезжал черный ЗИС, и митрополит выходил из ворот, улыбаясь окрестным мальчишкам, вечно торчавшим у его машины.

Особнячок, впрочем, снесли уже после смерти митрополита, а трамвай и все остальные перемены произошли еще позже. В конце концов и забора не стало, он просто рухнул однажды, и его разобрали на дрова. Тогда еще в доме топили ночи, высокие голландские печи в белых изразцах. На каждой сияла медная заслонка с медной же цепочкой. Одна такая заслонка висит теперь в нашей квартире на Петроградской стороне.

– Откуда это? – спросил меня кто-то из новых знакомых. Новым знакомым трудно объяснить старую жизнь.

– Так, память об одном доме, – ответила я.

В этот дом меня привозили на саночках, мне было четыре года, я ехала на елку, крепко прижимая к себе коробку с

кукольной посудой – в подарок Тане. На елке горели свечи, и этот елочный блеск, и запах, и прохладные дольки мандаринов, и даже платье на Марианне, самой красивой девочке среди нас, я помню так отчетливо, будто это было вчера.

Марианна умерла во время войны от брюшного тифа. Помню, как меня поразило это известие. Мне десять лет, идет война, у меня уже нет отца, и у Кольки, который сидит со мной за партой, и у Вали с нашего двора...

И вдруг я слышу, как мама говорит бабушке: Марианна умерла от брюшного тифа. Мне становится страшно, будто это я умерла. Только раз в жизни было так страшно. Много было страшно и потом, но так – никогда.

«Вот здесь жила Марианна», – думаю я всякий раз, проезжая по Старой Басманной. Детство, в сущности, никогда не уходит из нас, и никакие впечатления бытия не заслоняют во мне, например, запах лифта в большом бабушкином доме в Трубниковском. Дом этот неожиданно стал знаменит после того, как в его дворе сняли фильм «Романс о влюбленных». Но тогда, когда там жила бабушка, ничего знаменитого в нем не было.

Воскресные обеды у нее были для нас пыткой: бабушка неизменно варила свой излюбленный тминный суп, который мы с сестрой ненавидели, но который полагалось хвалить.

В квартире напротив жили Костерины.

Когда кончались спички или соль, бабушка говорила: сбегай, попроси у Костериных. Однажды я сама вызвалась схо-

дить к соседям, когда у нас перегорела лампочка.

– Не надо, – остановила меня бабушка. – У них горе.

– Какое? – испугалась я.

– Ивана Дмитриевича забрали.

– Забрали? Куда?

– Ну ладно, иди гуляй.

Непонятная жизнь взрослых обступала со всех сторон. Старшие – моя сестра и Нина Костерина – догадывались о чем-то, но не обо всем.

– Сказать тебе, где Иван Дмитриевич? – спросила сестра.

– Скажи!

– Да ты ведь разболтаешь!

– Честное сталинское, под салютом всех вождей! – затараторила я.

– Он на Лубянке. Нинина мать там в очередях целый день стоит.

– На Лубянке? В очередях? А что это? – изумилась я.

– Да ну тебя! – отмахнулась от меня сестра.

Запах лифта, тминный суп, гулкие подъезды, чугунная тумба у ворот...

Такая же тумба – старая коновязь – стояла на углу, напротив дома Ростовых. О том, что в этом доме жила Наташа Ростова, я узнала от мамы задолго до того, как впервые прочитала «Войну и мир». А прочитав, не поверила (да и сейчас не верю), что никакой Наташи на самом деле не было. Она была, так же как Нина, как Марианна, задолго до них, но была.

В воздухе улиц рассеяно дыхание всех, кого мы помним.

– Мистика это и чушь, – сказал Юра.

– Ну почему чушь? – слабо возразила я. – А еще стихи пишешь.

Юрины стихи в самом деле как-то не очень вязались с ним самим. Они были романтичны, а он, напротив, сух и реалистичен. Впрочем, может быть, я тогда ничего не понимала.

Юра жил на улице Воровского, за два квартала от переулочка моего детства. Но это уже была другая эпоха. Мне даже кажется, что я так и не рассказала Юре про Трубниковский, тогда это было от меня неизмеримо дальше, чем теперь.

Высотное здание, которое росло на наших глазах в конце бывшей Поварской, было куда важнее и интереснее дома Ростовых и уж подавно того дома, где когда-то жила бабушка.

Мы росли, менялись, и многое менялось вместе с нами. А многое оставалось неизменным. Но тогда мы этого еще не знали. Веселая наглость юности позволяла нам попирать очень важные основы жизни. Это был какой-то всеобщий грех бездумности. Юра казался старше, потому что все-таки думал там, где мы только смеялись, скакали и пели.

– Может, уйдем? – вдруг останавливал он меня посреди какого-нибудь особенно шумного праздника в Танином доме.

Мы выходили во двор и сидели в беседке (ее тогда еще не сломали), и голос Монтана со старенького патефона, долетавший из окон, мешался с грохотом пустых трамваев, про-

бегавших по переулку.

Была ли я влюблена в Юру? Не знаю. А он в меня? Может быть. А может быть, и нет. Не играет значения, как говорил один из наших приятелей. Теперь тем более, когда Юры уже нет на свете, и во все прошедшие годы мы, вероятно, были разными в наших разных жизнях, и вот теперь его уже нет на свете, а я узнала об этом из газет.

В большой коммунальной квартире на улице Воровского Юра жил один, без родителей. Они разошлись и разъехались в разные стороны, а сыну оставили комнату, в которой почему-то не было двери. Вместо нее висело старое байковое одеяло. Я помню, что меня это удивило, но не очень. Мы как-то легко и безразлично относились ко всему, что было бытом. Все время казалось, что эта жизнь – пока, а будет еще другая, главная. Быт, во всяком случае, жизнью не был. Возможно, это война так отразилась на нас, ее детях. Слишком многие вокруг и через пять, и через семь лет после войны жили все еще неустроенно, как будто наспех. Наверное, поэтому дом Тани, где всегда был обед, и патриархально топились печи, и старые картины в тяжелых рамах нетронуты висели на своих местах, казался всем нам незыблемым и вечным.

Недавно его снесли, срыли, как когда-то зеленый особнячок. И все меньше остается людей, которые помнят, какой это был дом. И какими мы были в нем. Как пили чай. Подолгу, часами. Все главные разговоры происходили у нас за чаем. А все драмы – в ванной. В ванной мы, девчонки, плака-

ли, уткнувшись в мохнатые полотенца, исповедовались друг перед другом, казнили себя и миловали. А попросту выросли. Ведь ни от чего так не взрослеешь, как от горьких слез.

Весной Юра объявил, что поедет в Ленинград, в морское училище.

– Зачем тебе это? – удивлялись мы.

– Мне нужна дисциплина, а то я разболтаюсь здесь, – твердо отвечал он.

Мы смеялись: это ты-то разболтаешься, что ж тогда о нас говорить!

Он уехал в конце лета, в августе. А потом было вот что: зимой он заехал в Москву на один день по пути в тот город, где жила его мать с новым мужем и новым сыном. Был жестокий мороз, в «Художественном» на Арбате показывали «Тарзана». Мы едва протиснулись сквозь толпу, осаждавшую кинотеатр, и вышли на угол, к аптеке. Он прочел мне стихи, где были такие строчки:

Я все думаю о тебе,

Мне, должно быть, нельзя иначе.

Но, забравшись хоть на Тибет,

От себя же себя не спрячешь.

Мне очень хотелось, чтобы стихи эти были про меня, но он этого не сказал, а я не спросила. Мы зашли в аптеку погреться.

– Красиво в Ленинграде?

– А ты приезжай.

– Приеду как-нибудь...

Я приехала в мае. В Москве было еще холодно, и Тина (ее настоящее имя было Тинатин, в нашей интернациональной компании она представляла Грузию) дала мне свое коричневое драповое пальто. А в Ленинграде на деревьях уже распускались почки, всё было пушисто и зелено, такая удивительно ранняя весна была в том году.

С Юрой я так и не встретилась. Никогда. Его училище помещалось на улице Чайковского. Проводить меня вызвался тот, кто спустя год стал моим мужем. От дома его двоюродной сестры, где я остановилась, мы долго шли пешком через весь город, и, когда подошли к улице Чайковского, я поняла, что не надо мне идти к Юре...

Было очень тепло, даже жарко, я сняла пальто, и мой спутник нес его, перекинув через плечо.

– Помнишь, – говорю я Тине, – как я ездила в Ленинград в твоём пальто?

Она не помнит.

– Ну такое коричневое, драповое. А там такая теплынь была, я в одном платье ходила...

Мы сидим на Батумском пляже, и между нами, прижатая камнем, чтобы не улетела, лежит газета, которую мы только что купили в киоске. Газета с некрологом, где про Юру написаны невозможные слова – скоропостижно, безвременно – и разные поэты, в том числе хорошие, хвалят его стихи.

– Подумай, – говорю я Тине, – как жизнь разводит людей.
– Смерть, – поправляет меня Тина.
– Нет, жизнь, – говорю я.

Мы молчим и смотрим, как Таня выходит из воды, как подходит к нам, улыбаясь, и вытягивается на горячей гальке.

Я пододвигаю к ней газету. До нее не сразу доходит смысл случившегося, и некоторое время она все еще ошеломленно улыбается.

– Господи! – говорит она потом. – Это – Юра?!

А Батумский пляж шумит и сверкает, как всегда. Четвертый день мы с Таней гостим у Тины, и это сверканье снится мне даже по ночам.

– У тебя что, цветные сны? – смеется Тина.

Мы вообще очень много смеемся, нам есть что вспомнить и над чем посмеяться. Но сейчас мы молчим, смотрим в море и слушаем, как оно шумит.

– Приеду в Москву, схожу на улицу Воровского, – говорю я.

Юра Смирнов и в больнице писал стихи:

Не каркай, ворона, не каркай,
Мне рано еще умирать...

В юности живешь суматошно, интенсивно, очень плотно, столько событий, людей, так много надо прочесть, узнать,

понять. «Сколько суеты и хлопот, прежде чем поймешь: жизнь – единственна... Ничего не меняется в единственной жизни, она внутри тебя, а так долго казалось, что – вовне».

Но понимаешь это (и пишешь про это) спустя годы. В сущности, спустя жизнь. Что меняется внутри тебя? Да почти ничего. Опыт – вздор, не в нем дело. Моя свекровь Елена Ивановна говорила мне перед смертью: «Я устала жить». Мне сейчас почти столько же лет, сколько ей было тогда, но я и сейчас не понимаю, как это – устала жить?

* * *

Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда...

С. Есенин

Ставен, разумеется, не было, но три больших (не низких) деревянных дома в тихом зеленом, а зимой заснеженном дворе посреди Москвы – это само по себе удивление. И очень многие, попавшие сюда впервые, удивлялись. Мы – нет. Мы с Илонкой дорогу в этот дом знали с детства, с довоенной немецкой группы (о группе – потом). Мы жили неподалеку, на Ольховке (Ольховская улица, 25, квартира 3), там на углу, на пересечении с Красносельской, та самая чугунная крышка водопроводного люка, возле которой мы стоим втроем

– папа, Илонка и я. «Помнишь этот снимок? – спросила я недавно у своей племянницы Марины. – Вот здесь мы стояли почти семьдесят лет назад». И она вдруг остановилась возле люка, потрясенная зримым ощущением летящего времени.

Летит и летит время и просеивается сквозь память. Главное остается, а не главное – нет. Впрочем, как знать? Хотя то, чего не помнишь, будто и не существовало. *«Не было никогда, не было никогда. Невская вода плещется среди льда»*. Но это – потом, а пока – Бауманский переулок, дом 7а, квартира 12. Здесь было детство, потом была война, и я почти забыла этот дом.

В Пржевальске, уже без мамы, вдруг получаем письмо.

«Я хожу в школу мимо вашего дома, но не помню, какие ваши окна». Наташа Вернандер, как и я, в восьмом классе, – «окна»?

Но, возможно, если бы не это ее письмо, я, вернувшись в Москву, не пришла бы в Бауманский переулок. Слишком многое пролегло между довоенной жизнью в этом дворе и той, что оглушила после Киргизии. Но оказалось, что у нас посреди захлестнувшей нас действительности не так уж много якорей, способных удержать на плаву. И один из якорей – здесь, в доме с бревенчатыми стенами.

Надо бы пропеть осанну поколению наших матерей. Какая невозможно трудная жизнь выпала на их долю! Из детского дореволюционного благополучия – в хаос двадцатых годов, в страх и ужас тридцатых, в военный голод сороковых,

в скучный быт пятидесятых, и вот уже подступила старость, а за порогом «государыня-смерть сама».

А какие были женщины! Несломленный дух, живое любопытство ко всему, что и есть – жизнь: книги, люди, и даже песни Окуджавы, и спокойно презрительное отношение к «нехваткам и очередям», к коммунальным будням.

Одна из этих великих женщин – Татьяна Борисовна Вернандер. Наша мама, тетя Лиза, Елена Ивановна и она. Может быть, мы хотя бы в малой степени научились у них мужеству жить? Может быть...

Дом в Бауманском переулке, от которого теперь и праха не осталось, только место, на котором стоял, – прибежище не для одной меня. «Клуб Вернандер» – так дерзко (за такие вот «клубы» людей отправляли ох как далеко) называем мы свою компанию. Клуб – это Инга Юрченко и Максим Калиновский, Платон Набоков, Димка Шевченко и мы с Наташкой.

Димка – из этого же дома, до войны он тоже вместе с нами ходил в немецкую группу. Есть масса фотографий (Татьяна Борисовна снимала), на которых Диме и Наташе пять – шесть – семь лет и где мы вместе с группой, шестилетние, на скамейке у этого самого дома, которого больше нет.

Как-то однажды мы послали Димке телеграмму в Губкин, где он, студент Горного института, был на практике. Телеграмма была такая: «Поздравляем старым Новым годом Клуб Вернандер», ее долго не хотели принимать, должно

быть, решили: шифровка.

Ингу привожу я, мы вместе учимся в университете. За ней приходит Максим и приводит Платона. Через много лет я, оказавшись на юге без книг, без друзей, от нечего делать пишу рассказ (первый свой рассказ, до этого всю жизнь – только стихи), в котором даже имен не меняю, только некоторые обстоятельства, линии судьбы, так сказать.

Инга

Унас было всё общее: помада, деньги, подруги, тайны, стихи – не просто стихи, а любимые стихи, они все время менялись, сегодня одни, а завтра другие становились любимыми, но непременно общие. И все дни у нас были общие, все дни знойного московского лета. Собственно, это еще и не лето было – май, конец мая, но неожиданно жаркий, ослепительный.

Здесь не весна, здесь сразу лето
И зной, и пыль, и жизнь, как вновь,
Те воробьиные рассветы,
Та разделенная любовь.

Это было наше слово: *раз деленная* любовь. Или: *не раз деленная* любовь. У девчонок считалось особым шиком сказать про кого-нибудь: это моя не раз деленная любовь. Это было

наше слово. Но мы его никогда к себе не относили. Просто шутка, и всё. О ком нам было так говорить?

А еще было смешное слово: пожитая.

– У нее очень пожилой вид.

Это говорилось непременно тоном превосходства.

Были целые фразы – наши фразы.

– Никакой жизни нет.

– Я лично в восторге (это со злостью, когда никому не нравится).

– Жаль, что вы глухой: много интересного.

– Дайте человеку выпить (это мы украли у леди Эшли, у Брет Эшли – она долго оставалась нашим кумиром и героиней).

Мы – все трое – были «монастырь», «белые передники» – так называл нас Максим, а мы не хотели этому верить, нам хотелось жить лихо, непременно лихо (это слово мы тоже любили) и любить, и мучиться, и говорить: дайте человеку выпить.

И вот тогда появился Платон³.

³ Набоков Платон Иосифович (р. 27.07.1922) – киносценарист, прозаик, журналист, поэт. Дальний родственник писателя В. Набокова. Родился в с. Константиновка (Украина). Учился в Литературном институте имени Горького, работал в «Известиях», «Московском комсомольце». В 1951 г. был арестован за «групповую антисоветскую агитацию», приговорен к десяти годам ИТЛ и отправлен в Озерлаг, в 1955 г. был освобожден и поселился в Москве. С 1966 г. работал старшим редактором в Московской редакции Центрального телевидения. Изданы сборники стихов «России черная метель», «У последнего рубежа», «Память», «Других не будет берегов», «Стихи и поэмы», «В две строфы».

Именно появился. Однажды вечером у Белорусского вокзала. Я не помню, откуда мы шли и почему оказались у Белорусского. Максим вдруг нырнул в толпу и тотчас же вынырнул, и рядом с ним был Платон.

– Это – Платон, – сказал он, как нам показалось, растерянно, – я вам говорил, помните? Это – Платон.

Мы тоже растерялись. Платон? Тот самый. Вот он какой. Стриженный ежиком. («Ну да, ведь это его *там* остригли»). Красивый. («В него был влюблен весь институт. Платон в красном шарфе – кумир», – Максим рассказывал о нем, не жалея красок.) Но тогда он был еще *там*, а теперь вот он, живой или – лучше – воскресший.

Максим заторопился.

– Ну пойдем, старик, пойдем, надо же выпить, – спасительно вспомнил он. – Сейчас же надо выпить.

Платон усмехнулся:

– Не суетись. Мы еще успеем выпить. Я же вернулся.

И, наклонившись к нам, сказал другим, серьезным голосом:

– Вы знаете, я сидел.

Мы потом часто слышали эту фразу. При каждом новом знакомстве он произносил ее – точно визитную карточку протягивал:

– Вы знаете, я сидел.

Это нас раздражало. Мы не понимали, для чего надо было всякий раз повторять эти четыре слова. Но тогда – в первый

раз – они потрясли нас. Стоя в толчее московского метро, мы остро ощутили одиночество этого человека и со всей добротой юности мгновенно и навсегда пожалели его.

Должно быть, только в начале жизни, «на утре дней» человек бывает так безоговорочно добр. Мы были добры, а вот Максим – нет. Его «утро дней» наступило и прошло давно, была война, фронт, потом Москва, Литературный институт, первый успех, и первая зависть, и первое поражение, и тот страшный день, когда увели Платона и всех ребят из его семинара. Максим был в другом семинаре. Этот день остался отметиной на всю жизнь.

– Дуры! – говорил он нам. – Что вы понимаете? Этот – просто дерьмо.

У него очень многие были «просто дерьмо».

– Не злобствуй, – говорила ему в таких случаях Инга, а глаза у нее смеялись.

Они всегда смеялись, когда она смотрела на него. Даже когда сердилась – смеялись. И когда плакала. Честное слово, когда она плакала, глаза непостижимым образом смеялись, если она смотрела на него.

Никогда больше я такого не видела. Да и никто из нас. Это была уже не любовь, а всепоглощение какое-то. Но любовь всегда – всепоглощение. Только у Инги она была – без дна.

...Мы все-таки пили в тот вечер. Максим просто не мог допустить, чтобы мы не выпили по такому серьезному поводу.

Мы сидели притихшие и грустные, а Максим шумно радовался, и было видно, что он чувствует себя виноватым перед Платоном, навеки виноватым за то, что учился в другом семинаре.

Потом наступили стихи. Я не знаю, как назвать это иначе. Но вот наступает день, и вы живете в этом дне, принимая в себя его суету, и горечь, и радости. Так приняли мы стихи Платона. Мы жили в них. Долгие дни и месяцы мы просто жили в них.

– Прочти, – просили мы его.

И он читал. Охотно, красиво, безудержно.

Тогда работал юнгой я
На каботажном судне.
Батуми был мне югом,
И заработок скудный
Меня вполне устраивал
Для жизни на волне,
А на берег выкраивал
Я рубль на стороне.
И то, что я выпрашивал,
Я забывал, беспечный.
Не надо было краше
Той жизни в веки вечные.
И хоть не стал поэтом я,
Любил я эту жизнь,
И не терпел поэтому

Ни трусости, ни лжи...

Мы росли, небогатые стихами. Многое из того, что теперь знают все, впервые открыл нам Максим. «В университете вам этого не расскажут», – говорил он, начиная наши ежевечерние «стиховые бдения». Читал он глуховатым голосом, вытягивая строку, как поэт: *«Я вернулся в мой город, знакомый до слез...»*

Он и начинал как поэт, а потом, уже в институте, стал писать рассказы – плохие рассказы, – в которых всегда были какие-нибудь удачные, запоминающиеся фразы. Иногда они – из рассказов – становились нашими.

– Не устраивайте митинг в Крыжополе.

Иногда, наоборот, наши фразы переходили в его рассказы. Сам он был умней и талантливей всего, что писал. И наверно, понимал это.

– Просто плохой рассказ, – говорил он иногда, прочтя вслух только что законченную работу.

Инга страдала.

– Ну почему ты так безжалостен к себе?

– Я же знаю, старуха, это просто плохой рассказ.

Еще чаще он говорил это о других.

– Просто плохие стихи.

– Дерьмо это, а не прозаик.

Может быть, писатель должен быть добр? К себе, к другим. Вообще – добр. Максим не был добр. Это ему мешало.

И в рассказах, и в жизни.

Теперь, просыпаясь по утрам (мы очень часто оставались ночевать в том доме, о котором нельзя рассказать скороговоркой, о котором я когда-нибудь расскажу отдельно, он стоит того – старый любимый московский дом с пропыленными картинами в старинных овальных рамах на бревенчатых стенах), мы читали стихи Платона, и в университете между лекциями мы повторяли его стихи, и возвращаясь домой.

Успокойся, примиришь со мною.
Легким снегом жизнь твою укрою.
Черным снегом фронтовых полей,
Чистым снегом гибели моей...

Какая-то необъяснимая магия существовала для нас в этих стихах. Может, оттого так трогали они душу, что мы знали самого Платона, его печальную и в конце концов трагическую судьбу.

Он так и не стал поэтом. Нет, не так: он был поэтом – был! – и перестал им быть в тот день, когда в кабинете следователя, измученный бессонницей и страхом, подписал какую-то бумагу, которую, кроме него, не подписал никто.

В этой бумаге (нам рассказал Максим) перечислялись все мнимые грехи руководителя того злополучного семинара. Руководителю ничего не сделали. Его только пригласили на Лубянку и дали прочесть эту бумагу, на которой стояла под-

пись Платона.

Никто не знает, о чем он думал, старый умный человек, глядя на эту подпись. Платон был его любимцем и надеждой. Еще давно, после Финской войны, он заметил его стихи:

Сколько встреч утрачено,
Женщин недолюблено,
Ветра перепито мною всех дорог...

– Приходите в мой семинар, будем работать, – сказал он ему и ушел по коридору походкой тигра. Он всю жизнь возвращался к тиграм в своих знаменитых стихах и, может, поэтому ходил, как тигр, осторожно и чутко.

– Пойди к нему, – сказал Максим, – слышишь, Платон, пойди к нему и все объясни, и...

– Что, что объяснить? – закричал Платон и ушел в кухню и долго курил там и пил воду.

– Позвони ему, – сказала Инга. – Позвони по телефону. Это легче, чем пойти.

– Да, ты права, это гораздо легче. Ты умница. Ты мой добрый гений. Еще легче просто забыть, что существовало что-то на свете, кроме этого милого дома, – сказал Платон, склонившись перед Ингой, и поцеловал ей руку.

Он всегда целовал нам руки, приходя и прощаясь. Это было необычно и красиво. Но он и сам был необычен и красив. И несчастен.

– Он несчастен, понимаешь, несчастен, как ты смеешь ревновать к нему?! – кричала Инга. – И потом, если бы не мы, я не знаю, куда бы он вообще приходил.

– Я тоже не знаю, куда бы я приходил.

– Не прикидывайся. Я ведь знаю, у кого ты был вчера и с кем ты пил. Мне проболтался Юра. Он думал, что я знаю, и случайно проболтался.

Юрой Инга называла своего отца, известного в Москве кинооператора. До десяти лет Инга вообще не знала, что это ее отец. «Я – дитя любви», – повторяла она, смеясь.

«Людочка, – говорила она матери, – я дитя твоей любви, неужели ты откажешь мне в этой пустячной просьбе?»

Нас восхищали такие отношения. Они были не похожи на все, что мы видели до сих пор. Я никогда не говорила с матерью так легко и изящно, как Инга. И уж конечно, мать никогда не приняла бы такого тона. Он был бы просто невыносим в нашем доме.

– Людочка! – говорила Инга, – очень может быть, что я сегодня не приду ночевать. Как ты к этому относишься?

– Ну, Инга, – отвечала Людочка, – мне без тебя скучно.

– Какие глупости, Людмила, ты же взрослая женщина, займись чем-нибудь, – смеялась Инга, целуя мать.

И мы уходили. Мы всегда уходили. У нас был один общий дом, о котором я еще когда-нибудь расскажу. В этом доме проходила наша общая – трудная и легкая – жизнь. И в этот дом приходил Платон.

– Если бы не мы, я не знаю, куда бы он вообще приходил, – сказала Инга, и это была правда.

Я только теперь до конца понимаю, какая это была правда. И чем были мы для него. И чем была Инга. Веселая, всё понимающая Инга, в круговороте жизни выбравшая Максима и одарившая его своей любовью.

Может быть, у кого-то сложилось иное мнение. Ведь это Максим нашел Ингу. Он увидел ее однажды в доме Юры, ее отца, и пошел за ней, и ходил к ней в университет, и звонил, и ждал, и ревновал ее. И сделал самое большее, что может сделать мужчина ради женщины, – ушел к ней от жены, от женщины, с которой жил и на которой женился, уходя, потому что она ждала ребенка. Это была трудная, запутанная история. Как битва с потерями и кровью. Она стояла многих Ингиных слез и Ингиной детскости. Она стала взрослой, выйдя из этой битвы.

Наверное, каждый мужчина хотел бы, чтобы его вот так любила женщина – всё прощая и без оглядки. Это вызывало зависть. У всех, кроме нас. Мы знали: Максим не стоит такой любви. И такой Инги. Мы знали: она пропадет с ним, она перестанет быть *такой* Ингой. И она знала, что перестанет. Она очень многое знала. Она была мудрая. Хотя это и не сразу было заметно.

– Я пропаду с тобой. Вот и девчонки так считают, что я пропаду как личность, – говорила она, смеясь, выставив вперед круглый смешной подбородок.

– Ничего. Одной личности на двоих нам вполне хватит, – отвечал Максим.

Личностью был, конечно, он.

Платон приходил всё реже и реже и, приходя, уже не читал стихов. Инга ходила с заплаканными глазами: они ссорились с Максимом, и Платон понимал, почему они ссорились. Всем было неловко, и только Максим, как всегда, шумно обсуждал свои литературные успехи (это был период успеха) и свои отношения с Ингой.

– Понимаешь, старик, самое интересное, что она считает, будто я ревную ее к тебе. А я хочу выпить с тобой. За твои стихи. Здесь все с ума сходят по твоим стихам. Я вынужден был наложить на них вето. Не могу же я, согласись, все время слушать твои стихи, хоть это и прекрасные стихи...

Платон молчал. Мы старались выйти из комнаты, например, в кухню – мыть посуду. Инга плакала, и ее слезы капали на посуду. Мы жалели ее, хотя, наверное, надо было жалеть Платона или не жалеть, а заставить его позвонить по тому телефону, на что он так и не решился...

Через месяц Инга и Максим уехали в маленький белорусский городок, где собирались провести остаток лета и откуда Инга писала нам смешные и нежные письма. «Где Платон? Где его новые стихи?» – спрашивала она.

Не было новых стихов. Платон опять приходил к нам каждый вечер, и мы говорили о чем угодно, только не о стихах.

Странно – стихи вдруг стали запретной темой.

– Вы знаете, что такое фальстарт? – спросил он однажды, поворачиваясь на круглом черном табурете от пианино, на котором часами мог что-то негромко наигрывать.

Мы читали, лежа на диванах в разных концах комнаты, всегда чуть сумрачной из-за высоких тополей за окном.

– Что?

– Что такое фальстарт, знаете? Это когда человек срывается бежать и – осечка. Опять срывается, и опять – осечка. Это я про себя, – усмехнулся он. И добавил: – Чего-то не хватило.

Мы помолчали.

– Инга? – спросила я.

– И это тоже.

Больше мы никогда не говорили об этом. И всё, что потом началось и что случилось с нами в этом доме, имеет отношение совсем к другому рассказу.

* * *

Компании нелепо образуются —
в одних все пьют да пьют, не образумятся.

Е. Евтушенко

У нас тоже пили (особенно Максим), но не это было глав-

ным. Главным были стихи, литература. Впрочем, об этом уже есть в рассказе.

Нас сводила с ума «Певичка» Платона Набокова *«Тогда работал юнгой я / На каботажном судне».*

Или вот это: *«Успокойся, примиришь со мною. / Легким снегом жизнь твою укрою».*

Или вот это: *Друзья вскричали: «Виски!» / А я: «Алиготе!»*

С бутылкой «Алиготе» он в девяносто каком-то году и появился у Натальи, после того как мы случайно столкнулись у Арбатского метро. Я бы никогда его не узнала с окладистой седой бородой... Всех разбросала, раскидала жизнь. И – смерть. Первым умер Максим. Потом Димка. Максим не мучаясь, во сне. Димка – в муках.

Ничего мы, по счастью, о том, что с нами будет, не знаем, когда только начинаем пробовать жизнь на вкус, на цвет и на запах. Влюбляемся, ссоримся, расстаемся...

Скучно тебе иль весело
От этой смешной любви?
С мокрых деревьев свесились
Шумные воробьи.
И черные скверы голые
Под солнцем вдруг не узнать
И «Осторожно, голуби» —
Новый дорожный знак.
Грустно тебе иль радостно
Слушать московский гам?

Это – весна, и надо с ней
Что-нибудь делать нам.
Средь этих дней невиданных,
Всё уходящих вглубь,
Встретиться б неожиданно
Где-нибудь на углу.
Где-нибудь ждут нас проводы,
Грусть, перестук колес...
Столько пустячных поводов
Для непустячных слез!

Вижу, как иду с Димкой по залитому солнцем Бауманскому переулку, как он с независимым видом насвистывает модный тогда «Севастопольский вальс», а в Бауманском метро говорит мне: «Ты теперь неходишь в статью моих расходов», и я достаю собственный пятак, чтобы пройти через турникет.

Это пятьдесят шестой год, лето, я приехала из Ленинграда, где неожиданно для Димки (да и для самой себя) вышла замуж за Бориса. 16-го мая 1956 года.

Такой странный, такой памятный день и все то, что ему предшествовало. Во-первых, как выяснилось, я приехала без паспорта, он остался в Москве. Во-вторых, я ужасно стеснялась идти в загс, вообще вся эта процедура казалась нестерпимо пошлой, оскорбляющей саму любовь. «Отнесись как к прописке», – уговаривал Борис. Мы всё стояли и стояли на углу Большого проспекта и 9-й линии. «Мы здесь уже

вроде достопримечательности», – пошутил он, и мне вдруг стало смешно и легко. И уж совсем смешно было во время процедуры: в особняке шел какой-то ремонт, и когда строя тетка что-то бесконечно записывала, за окном медленно спускалась веревочная петля, как символ «законного брака», с которым нас торжественно поздравили. Давясь от смеха, мы выскочили в коридор и поехали на Невский, испытывая необыкновенное облегчение от того, что эта процедура нам больше не грозит и что все закончилось.

Кстати, паспорт из Москвы мне тогда привезла Римма Смирнова. Господи, как это было давно! Мы поехали на Невский и купили серую сумку в цвет моих туфель.

* * *

Как всякий мужчина, я не умел долго любезничать стоя.

Э. Хемингуэй

В эвакуацию мама увезла свои любимые книги, в их числе Хемингуэя. «Пятая колонна и первые тридцать восемь рассказов» – так назывался небольшой серенький сборничек, проглоченный мною в классе пятом-шестом. Наживки хватило на всю жизнь. Фразу, что вынесена в эпиграф, я тоже прочла в Пржевальске, в маминой тетради, куда она записывала понравившиеся ей строчки, свои и чужие стихи...

Фраза эта – из «Прощай, оружие!», но об этом я узнала гораздо позже. Ошеломивший меня роман дала прочитать Инга.

«Ты знаешь Хемингуэя? – спросила она. – Это – “Прощай, оружие!”, но только на два дня, Людочка не велит даже выносить его из дома».

Как сейчас помню, довоенное издание «Знамени» в двух номерах. После меня Инга дала прочесть роман Киму Бакши, в которого на тот момент была влюблена, а Ким его не вернул. «Что хочешь со мной делай, но я с ним расстаться не могу», – сказал он. Инга возмущалась, плакала, умоляла, вся любовь, естественно, испарилась, но он, кажется, так и не вернул Хемингуэя.

Ей-богу, только в нашем поколении кипели вот такие книжные страсти. Неутоленный голод на книги.

Эдик (Эдмунд) Иодковский как-то прочел мне «Любку» Смелякова на известной всем университетской балюстраде. Я тотчас же отправилась в Ленинку, чтобы взять Смелякова. В каталоге он, как ни странно, был. Не успели изъять? А меня вместе с формуляром препроводили в первый отдел и устроили форменный допрос: кто такая, откуда?

Я только тогда узнала, что Смеляков репрессирован, и на другой день умолила Иодковского записать мне «Любку», эта запись и сейчас у меня есть.

Посредине лета

Высыхают губы.
Отойдем в сторонку,
Сядем на диван...

Иодковский погиб в начале перестройки, он выпускал прогрессивнейшие «Литературные новости», и его сбила машина, когда он ночью возвращался из редакции. Случайность? Вряд ли...

А тогда на балюстраде он говорил про себя: «Я – поэтический тренер Магдалины Грейнер» – и отнес в «Московский комсомолец» мои стихи. Они назывались «Мосты». Я ни строчки не помню, подозреваю, что ерунда была изрядная, но почему-то это напечатали. Это был год 52-й или 53-й.

А сам Эдик писал хорошие стихи:

Ну, до свиданья! Тебе-то прямо,
А я пойду поброжу по Москве.
Над гастрономом зажглась реклама —
Красный, почти марсианский цвет...

Мне ужасно хотелось, чтобы «Прощай, оружие!» прочел Борис, и оказалось, что такое же «Знамя» есть у Рипсимэ Карповны Таманцовой, приятельницы Татьяны Борисовны. Замирая от ужаса (вдруг пропадет?), отправила бандероль с чужой книгой в Ленинград. Слава богу, все обошлось.

А потом мы прочли «Фиесту».

«Фиеста»! Леди Эшли, Джейк Барнс, горькая, трагиче-

ская любовь... Что больше воспитывает душу – собственная жизнь или та, что в книгах?

* * *

Кто может знать при слове расставанье —
Какая нам разлука предстоит?

О. Мандельштам

Всего лишь три-четыре года мы, «Клуб Вернандер», провели вместе, потом разлетелись кто куда. Но этих лет хватило на всю последующую жизнь. Не вспоминать – помнить. Что-то очень важное произошло в те годы. Определились ценности? Может быть. А что было, кроме книг, стихов и разговоров? Вот это-то и было. И еще – Москва.

Москву, так мне всегда казалось, я знаю ближе и лучше, чем все, потому что у меня с ней особенная связь. Но теперь, когда приезжаю, ничего не испытываю, кроме щемящей тоски.

Говорю об этом с тоской:
Той Москвы уже нет в помине.
Вот и мы, как эпоха, минем,
И над тем, как мы жили-были,
Ни слезы, ни молвы людской,
Как мы город прежний любили

В Трубниковском, на Поварской,
У Елоховской, на Тверской...

У Елоховской сохранился дом, где была аптека и куда папа ночью ходил за камфарным маслом, когда у меня разболелось ухо. Должно быть, это было году в тридцать пятом. До недавнего времени здесь была аптека. Теперь уже нет. Теперь вообще все так непоправимо изменилось! Какой-то тусовочный, крикливо размалеванный город. Могла ли я думать, что когда-нибудь вот так расстанусь с ним?

Долгие годы в Ленинграде меня не покидало ощущение, что будет еще одна жизнь – в Москве. «Насовсем уезжаю из Москвы? Да вы что!» Это – из рассказа, которому здесь еще найдется место.

Сейчас впервые произнесу совсем недавно невероятное для себя: я больше не хочу жить в Москве. В этой Москве – не хочу.

Конечно, сохранились какие-то переулки-островки и некоторые дома из прежней жизни. Но прежний город, теплый, суматошный, не важно, что я всегда была бездомна в нем – он все равно был своим, близким. А теперь его нет.

* * *

...ты, измятый, изломанный «кодак»,

так называемая душа?

Н. Асеев

Читали «Земляничку» Триоле, а в ней эпиграф «...ты, измятый, изломанный “кодак”, так называемая душа». Сразу вопрос: откуда? Где достать, прочесть? В советских (тех лет) изданиях Асеева «Лирического отступления» не было. Видимо, из-за строчки «...там, где мы томимся, победив» и не только из-за нее.

Ох уж это узнавание поэзии по эпиграфам, по разговорам! По разговорам с теми, кто знал! Знал Цветаеву, Мандельштама, или «Любку» Смелякова, или вот неизвестного нам Асеева... Сейчас даже вспоминать странно: неужели так было?

В Краснодаре, куда я поехала на практику и где уже работала в «Комсомольце Кубани» Инна Руденко, познакомились с Леной Рождественской, она только что разошлась с Робертом, по которому страдала всю жизнь, несмотря на сонм мужиков, выющихся вокруг.

Ленка знала множество стихов и замечательно их читала. Володю Соколова, Володю Гнеушева, сокурсников Роберта по Литинституту, мы узнали от нее.

Хоть глазами памяти
Вновь тебя увижу.
Хоть во сне, непрошено,
Подойду поближе.

Это – Соколов.

Мы и сами ведь живем не так,
Не актеры, а шаги за сценой...

Это – Гнеушев.

Помню, каким страданием было для Ленки увидеть стихи Рождественского, написанные когда-то ей, а опубликованные с посвящением Алле Киреевой, новой жене:

Скажешь:
«Тоже мне, влюбленный!» —
и посмотришь удивленно
и не усидишь на месте.
Будет смех звенеть рекою...
Ну и ладно. Ну и смейся.
Я люблю тебя такую.

Она, Ленка, была разной, всякой: легко врала, легко дружила, да и страдала легко, смеясь над собой и плача. Но поверх всего, как и у нас (у меня, Натальи, Инги), шла любовь к стихам.

Однажды в письме ко мне Наталья прислала несколько строчек Луговского:

Поманила пальцем.
Убежала.

Сны окончились.

Кругом – темно.

Горечь расставанья, боль и жалость

Хлынули в раскрытое окно.

Ни я, ни Ленка этих стихов тогда не знали, чуть ли не «молнию» в Москву: «Пришли остальное!»

А жизнь между тем складывалась нерадостно. На обороте своей фотографии, сделанной редакционным фотокором, Ленка написала: «Магда, нам с тобой надо жить, не надо вспоминать». Это было время ссор и расставаний, время тоски. В какой-то командировке в станичном «Доме колхозника» засыпаю вечером в чистенькой, пахнущей вымытыми полами комнате, и вдруг из коридора (там радио) – глуховатый голос Владимира Луговского:

Девочке медведя подарили.

Он уселся, плюшевый, большой...

И я плачу, плачу, не могу остановиться, такое пронзительное чувство оторванности от мира, такое одиночество.

Но когда зимой в Москве всё и в самом деле куда-то отступает и закруживает другая жизнь, приходит письмо.

Ах, этот адрес: Москва, Г-19, до востребования! Теперь одно-двухэтажные старинные дома вдоль Арбатской площади от Большого Афанасьевского, где «молочная», до Арбата давно скрыты. А там была почта. И вот из Ленинграда при-

ходит письмо, одна строчка: «Магда, ты меня совсем забыла». Одна строчка, а колесо судьбы (если «высоким штилем») сначала делает стремительный поворот назад, а потом вперед, вперед и дальше, дальше вот к этому сегодняшнему дню, в котором я на дачном балконе в Яппиля, среди травы и сосен, вспоминаю свою жизнь.

Вспоминаю, как мы с Ленкой ездили от редакции в Адыгею, переходили по веревочной лестнице над горной рекой, сидели уставшие на берегу, и я говорю: «Бегут две собаки», а Ленка, не оборачиваясь: «Быстро бегут?»

Потом в Москве она привела к нам в «клуб» Соколова и Гнеушева. Соколов пришел с беременной женой, болгарской красавицей Бубой, через несколько лет покончившей с собой. Гнеушев же решил, что влюбился в меня, писал мне стихи. Когда он уезжал в свой Ставрополь, мы с Соколовым провожали его на Курском вокзале, поезд тронулся, и Соколов вдруг крикнул: «Привет Лиде!», а Гнеушев показал ему кулак.

«Кто это – Лидя?» – спросила я, когда мы вышли из вокзала. «Ну, просто Лидя», – сказал Соколов.

Все стало ясно.

С Леной Рождественской, спустя годы, мы работали в ленинградском Доме прессы в разных редакциях, на разных этажах, то и дело сталкивались на лестнице, в буфете, но никогда даже не поговорили толком и не тянуло друг к другу. А недавно она с дочкой и внуками уехала в Германию на ПМЖ,

как теперь принято говорить, и даже не попрощалась. Точно по Левитанскому: *«Жизнь прошла – как не было. / Не говорили»*.

Сколько загадок в человеческих отношениях!

* * *

...под старость нашей молодости...

А. Пушкин

Пушкину двадцать два года, и он пишет, кажется, Дельви-гу: «под старость нашей молодости». Ничего себе, да? Мне в тот день, когда я натыкаюсь на эту фразу, лет на пятнадцать больше и я убеждена, что это еще – молодость. Натыкаюсь я на пушкинскую фразу во время (страшно сказать) заседания Ленинградского бюро обкома партии. Его ведет Романов, от одного его взгляда не я одна цепенею, и все же (о блаженное легкомыслие, всегда выручавшее меня!) держу под столом на коленях переписку Пушкина и читаю украдкой. «Ты дождешься», – говорит мне в перерыве Саша Осипов, мой вернейший друг и лучший из всех известных мне партийных функционеров. Ему первому я отнесла в 1989 году свою книгу «Моченые яблоки», получив в московском издательстве «Советский писатель» авторские экземпляры. Саша тогда уже жил в Москве, изгнанный, как и я, Романовым с работы. До самой своей безвременной смерти – не смог он вы-

нести романовских гонений! – какие замечательные ко всем праздникам присылал он мне открытки, сколько в них было юмора!

И вот он говорит: ты дождешься, и наставляет меня: не ходи в обком в мини-юбках, не носи браслетов, непременно приезжай сюда каждый день обедать. «Ну вот еще, – говорю я, – у меня времени нет каждый день сюда ездить».

Дура и дура. Прав был Осипов: белых ворон изгоняют. И – изгнали. Всего пять лет я продержалась в роли редактора областной газеты «Ленинградский рабочий». Но все же целых пять лет!

А моя первая газета – «Скороходовский рабочий» – первое и последнее счастье работать так же, взхлеб, как дружить и любить.

Нас, одинаковых и разных, прибило к этой газете, как к спасительному берегу, в самое глухое (после оттепели) время. 1967 год. Я-то здесь уже девять лет. Девять лет назад Борис (он не только философ, но и велогонщик) устраивается подрабатывать в спортклуб фабрики «Скороход», выступает за их велокоманду, оформленный не то токарем, не то слесарем.

Весь советский, так называемый любительский, спорт на том и стоит. А напротив спортклуба, в том же коридоре – дверь в редакцию многотиражки. Вот так по рекомендации собственного мужа я и попадаю сюда.

Всё случайное становится когда-нибудь значимым. Так и

со «Скороходовским рабочим». Случайно попала в эту газету, а она вдруг стала судьбой, во всяком случае, совершенно особой, особенной страницей в жизни. Для всех, кто попал в ее орбиту.

Это наши лучшие годы – вот как мы говорим теперь. 18 января 1967 года, в канун Крещения, вышел первый номер той самой ежедневной газеты, объединившей нас. По традиции в этот день мы собираемся вместе. В 2005 году это было в тридцать восьмой раз, а в 2007-м – в сороковой.

Совершенно особенный дух общности, дружественности, вольности возникает тотчас же, стоит нам собраться вместе. Дух ушедшей молодости? Да, но и не только. Мы были (и остались) единомышленниками – вот что важно во все времена. А в той стране, «где нам посчастливилось родиться», тем более.

При слове «Скороход»
Часы меняют ход
И время мчится вспять
Туда, где на Заставской
Мы молоды опять,
И нам щекочет лица
Такой же юный снег,
И длится, длится, длится
Еще двадцатый век.

...Как мы дружили с эстонской газетой «Эдази», знаме-

нитой на всю Эстонию журналистской фрондой, как ездили в Тарту, как они приезжали к нам... Как на съезде журналистов в Колонном зале я рассказывала об этом с трибуны и как потом вся эстонская делегация окружила меня и благодарила... Как мы самолетом летали в Каргополь, и местные журналисты угощали нас ухой на озере Лача...

«Скороходовский рабочий» – всего лишь многотиражка (правда, первая в стране ежедневная). Но мы раздвинули ее горизонты, нам это удалось, нам было интересно вместе, а это не так уж часто встречается.

И вот на дворе XXI век, и не только «Скороходовского рабочего», самого «Скорохода» уже нет на свете, и нет Аркаши Спички, Васи Суворова, Гали Глуховой, Милы Суздальской... Кому из нас «день Лицея торжествовать придется одному» – Бог весть. Пока живы, будем хранить наши воспоминания. Вот и поминки по Галке Глуховой в нынешнем июне получились у нас не столько скорбными, сколь веселыми, какой и она сама была в нашей общей жизни.

В той жизни, в которой казалось, что правила, предписанные нам властью, останутся незыблемыми навсегда, что плетью обуха не перешибешь и мы обречены прожить свой век во внутренней эмиграции. Вот отчего так ценилось остроумие, вот отчего так много смеялись.

Прерываю свои записки. Сегодня, 7 сентября 2004 года, второй день официального траура по Беслану. По телевизору 150 тысяч итальянцев в Риме со свечами

идут вечером по центральным улицам, а у нас снимают с работы главного редактора «Известий» за «чересчур эмоциональное освещение» горя: снимки, видите ли, слишком плакатны. А на снимках этих – убитые дети.

Сволочизм власти все тот же, никуда не исчез. В этом-то и вся печаль...

Однажды в «Скороходовский рабочий» приходит по нашему приглашению Виктор Соснора и до позднего вечера читает стихи, разговариваем, должно быть, откровенней, чем следует, потому что уже утром (утром!) меня вызывают в горком партии, заводят в какую-то пустую комнату и велят написать обо всем, что было накануне: что говорил Соснора, что читал. Пишу всякую ерунду: читал стихи, говорили о поэзии... А оказывается, они уже обо всем осведомлены в подробностях. Откуда?! Кто успел настучать? На всю жизнь осталось загадкой.

И еще одна такая же загадка-анонимка долго мучила неразгаданностью: как сейчас помню напечатанное на машинке письмо, где мои «грехи» (в редакции много евреев, антисоветские настроения и т. п.) перечислялись грамотно и подробно. Письмо на имя Романова в те дни, когда решался вопрос, быть ли мне редактором областной газеты; его перехватил Осипов и показал мне. Почему-то больше всего удивило последнее слово: «Привет!» Что-то смутно похожее было в нем, но что?

«Никогда над этим не ломайте голову, в любом человеческом сообществе, а это и двое, и двести, есть место предательству...»

Это позже, гораздо позже, я написала в повести «Живите долго». Она почти документальна, и ее, возможно, следовало бы посвятить памяти Миши Балцвиника.

«Все в душе мы чуть-чуть поэты...» На самом деле все в душе мы были (кто чуть-чуть, кто больше) диссидентами. Миша – более других и четче других. Партийный билет остроумно и точно называл хлебной карточкой. В нашей, да и не только в нашей профессии никакого «хлеба» ты бы без этого билета не получил.

Он и не получил, когда его выгнали из партии и из газеты. До конца дней своих мыкался филолог, книжник, умница в каком-то плановом отделе. А случилось вот что: группа «продвинутых», как сказали бы сейчас, ребят написала некий труд под названием «От диктатуры бюрократии – к диктатуре пролетариата». В труде этом доказывалось (святая наивность!), что ленинские идеи социализма искажены партийной бюрократией.

Всех, кто писал, посадили. Всех, кто читал, выгнали с работы. Миша – читал. Его жену Галю Зяблову тоже отовсюду выгнали за «недоносительство» и сослали из «Смены» к нам, в «Скороходовский рабочий».

Через пятнадцать лет Миша покончил с собой, окончательно запутавшись в дебрях жизни.

Миша Балцвиник... При всем очевидно угадываемом трагизме этой фигуры я почему-то более всего вспоминаю его в атмосфере праздничности, то и дело воцарявшейся в доме. Здесь, на Перовской, 3, в квартире 10, любили гостей и умели их принимать. Ах, эти Галины пироги, этот глинтвейн в высоких тонких стаканах с желтыми и красными ободками, запотевшие бутылки водки и неперменные маринованные грибы. Грибы – это уже Миша, его воплощенная страсть. «Грибы – это всего лишь машина плюс уксус», – говорил он моему мужу, когда мы купили первые «жигули».

Любил и умел быть элегантным: белоснежная рубашка, черный галстук-бабочка. Знал толк в остротах, шутках, был на редкость афористичен. Презирал даже намек на сервильность, не скрываясь, ненавидел тупость окружавшей нас номенклатурной действительности.

Все мы тогда в той или иной степени были «внутренней эмиграцией», но он четче других. И непреклонней. Вот почему в этом доме дышалось воздухом свободы, словно стены его не пропускали ничего извне. Здесь зло смеялись над тем, что говорил «лично Леонид Ильич» и доверяли лишь тому, что сообщал Анатолий Максимович, обозреватель Би-би-си.

Здесь раньше других читали Гроссмана и слушали Галича. Здесь любили Окуджаву. Здесь одаривали друзей редкими фотографиями Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Зощенко... из бесценного фотоархива, созданного Мишей, его подвижническим трудом.

Словом, это был дом – оазис, воспитавший у многих, прошедших через него, правильные политические и эстетические вкусы. Притом что собственный вкус Миши был безупречен, он умел буквально одним абзацем кратко и емко охарактеризовать книгу или событие, или человека, или историческую эпоху.

Единой душой дома были Миша и Галя, в этой, казалось, нерушимой связке ведущим был Миша, а ведомой – Галя. Но когда связка разорвалась, Миша умер. Прервалась связь времен, и душа не выдержала смертельных сквозняков, тех самых, от которых защищали былые стены их общего дома, рухнувшие разом.

Что сказать еще? Что сказать о жизни, что оказалась такой недлинной?

Часто думаю, как жаль, что он не дожил до времени, оглушившего нас эйфорией свободы. Но и это время кончилось. Хотя все-таки жаль, что он не хлебнул его вместе с нами. Тот удивился бы, увидев на книжном развале «Жизнь и судьбу» Василия Гроссмана, а по телевизору – «В круге первом».

Свои круги ада он, пройдя их, изведal сполна, оставшись в памяти человеком на редкость неординарным, талантливым, сложным, трагическим и веселым. И я бы сказала – уникальным.

Спасибо тебе, Миша!

Пролетела эта жизнь,

Телефонами звеня...

Спасибо всем, кто был со мной в те годы. Мы помогли друг другу сохранить «душу живу». Она и осталась живой, душа. Не очерствела. А как ее ломали внешние и внутренние беды! И не только беды, но и соблазны: чуть-чуть отступить – и прожить полегче. Стало ли кому-то легче? Пожалуй, никому. Зато осталось, смею надеяться, навсегда, родство душ. И когда звонят из Москвы Недошивины (какую удивительную стезю избрал для себя Слава – делает телефильмы о Серебряном веке!) или когда я слышу в трубке голос Миши Отрадина (он теперь профессор филфака), голоса Левинского, Зябловой, Наташи Жуковой, Тани Дурасовой, Юры Николаева... в такие минуты ощущаю, что жизнь – прекрасна, что на земле, как бы ни была она иногда холодна и враждебна, существует наше братство, противостоящее, как и раньше, этому холоду и враждебности.

С недавнего времени в газетах появилось маловразумительное «соб. инф.» – собственная информация. Так вот эпиграф к этой главке – соб. стих.

За что-нибудь любят,
За что-нибудь помнят —
За милые руки
В сумерках комнат,
За грустные слезы
На горьких вокзалах,

За все, что сказала
И не сказала.

И здесь начинается давняя повесть —
От дома до площади —
Десять минут,
И десять еще, чтобы тронулся поезд,
И час, пока люди в вагоне уснут.
И можно тогда тосковать, тосковать
На верхней полке лицом к стене.
Полка, как узенькая кровать,
Качается от бегущих теней.

Слушай, это – про тебя,
Про тебя и про меня.
Пролетела эта жизнь,
Телефонами звеня.
Как там дождь по тротуарам
В переулке старом-старом
По булыжникам скользил...

Здравствуй! Я опять с тобою
Через столько лет и зим.
Это небо – голубое,
Если в воду поглядим,
Этот город бесконечен,
Если в нем идти, идти...
Это – встречи, встречи, встречи,
А разлуки – впереди.

За что-нибудь помнят...
Ты помнишь, за что?
За синее вымокшее пальто,
За мокрые волосы от дождей,
Косо летящих каждый день
На двух таких бездомных людей.

Ах, что было делать?
Шли дожди,
Московский ноябрь, плохая погода.
«Замерзла?» – «Не очень». – «Не уходи».
Такое проклятое время года!
Сумерки – горькое время дня.

Помни меня,
Не забудь меня.

В том ноябре мы с Борисом под дождем у газетной витрины на том самом доме, которого теперь нет и где была почта, прочли ошеломившую нас строчку:

«В Париже скончался русский писатель Иван Бунин». Ошеломило даже не то, что – умер, а то, что был жив только что, сейчас, при нашей жизни. А мы и не знали за своим железным занавесом. Казалось, всё так далеко – Чехов, Бунин... А он умер позавчера.

Чего только не происходит «при нашей жизни»! Вот Пушкин. Он тоже в составе крови. Как Москва. Сколько себя

помню, это со мной.

В Яропольце, где после Сталинабада Илонка устраивается преподавать в школе и где над речкой Ламой (отсюда и Волоколамск – волоком по Ламе) стоит дом, в котором мы снимаем комнату и куда привозим из Москвы только что родившуюся в декабре 1954 года Марину, – в Яропольце бывал Пушкин. Это обстоятельство прямо-таки кружит голову. Вот в этом парке гулял Пушкин. В этом доме жил. Это – именье Гончаровых. Барский дом почти разрушен войной, и все же в нем уютится школа, в которой работает Илонка.

А я по ночам, когда тихо-тихо, пишу стихи.

Как льется дождь с чугунного плаща,
Над пушкинской крылаткой свищет ветер...

Из Яропольца даже Тверской бульвар (впрочем, Пушкина в это время уже передвинули с бульвара) кажется недостижимо далеким, что уж говорить о Ленинграде, с которым у меня в тот год совсем прервана связь, и все – *«за тридцать земель от счастья, / от этих солнечных снегов...»* В самом деле, зимний солнечный день в Яропольце воспринимается как счастье при всей скудости и сложности быта. Это от красоты вокруг и молодости в себе.

Но как это потом безвозвратно проходит! Когда множество раз наступает другая жизнь. Слой за слоем, слоями: другая жизнь.

Как на моментальном снимке (есть такой снимок) мы идем через двор мимо поленницы дров (еще в квартирах – печки) – Васильевский остров, 1-я линия, дом 48, квартира 7, – несем домой капусту, я в белой куртке, помню, как ее покупали, всё помню – каждый счастливый день, и все же...

Приходи скорей, пожалуйста,
Дни растянуты, как годы,
Можно, я тебе пожалуюсь
На дождливую погоду?
Можно, буду плакать громко,
Слез с лица не вытирая?
Жизнь кончается у кромки,
Показавшаяся раем.
Как же это? Где же это?
Звон трамваев, шелест веток...
Что ж ты рвешь меня на части,
Показавшаяся счастьем?

Словом, «там, где мы томимся, победив». Вроде все исполнилось, почему же – томимся? Так трудно войти в «другую жизнь»!

...На двух трамваях, 5-м и 15-м, долго-долго тащусь с Васильевского острова на Московский проспект, на фабрику «Скороход». Редакция многотиражки – одна прокуренная комната, четыре сотрудника и машинистка Циля Яковлевна, упрямая сгорбленная старая дева, что, впрочем, не мешает

Валерию Ивановичу Виноградову, редактору, обозлившись, крикнуть ей однажды вслед: «Проститутка!» Во всей моей газетной биографии он и есть первый и последний редактор. Потом уже всегда я сама – редактор.

Но именно он, заботясь о моей дальнейшей журналистской «карьере», заставил меня вступить в партию и сменить мою фамилию на фамилию Бориса. Так по его распоряжению («С ума сошла? Не взять такую замечательную русскую фамилию!») я стала Алексеевой. Всегда помню его с благодарностью, он совершенно по-отечески относился ко мне.

Так же, как Свицерский к Борису. «Наставникам, хранившим юность нашу...»

Моя маленькая племянница Марина (она у нас, потому что Илонка тяжело больна и лежит на операции в московской Боткинской больнице) плачет всякий раз, как я ухожу на работу, а когда возвращаюсь, радостно кричит: «Моя Магдочка пришла!» «Это общая Магдочка», – внушает ей Борис, и в следующий раз она уже кричит: «Общая Магдочка пришла!»

Шутим без конца. «Магдочка вредная – работает в редакции». Ребенок заучивает Пушкина так:

И в светлицу входит царь,
Стороны той секретарь.

Шутим, шутим, смеемся над коммунальным бытом, поли-

тикой, газетами, самым укладом советской жизни, над тем, что талдычит радио, что впихивается в мозги. «Зачем об этом – при ребенке»? – возмущается сестра, вслед за ней – мама и даже Елена Ивановна, обожаемая всеми нами мать Бориса, моя свекровь, хотя она-то как раз всегда готова посмеяться вместе с нами.

Но именно потому, что все «при ребенке» – разговоры, книги, люди, – она вырастает такой, какой вырастает, и воспринимает мир не в кривом зеркале идиотской пропаганды, а так, как и следует это глухое время воспринимать.

* * *

...по аллее, усыпанной листьями, шла ему навстречу
Мадю.

И. Эренбург

Двадцатые-тридцатые годы теперь уже прошлого века – какая-то загадка в них. Особенно в женщинах. Ахматова пишет, что, когда арестовали Мандельштама, в дом к Надежде Яковлевне «женщин в тот день приходило много. Мне запомнилось, что они были красивые и очень нарядные – в свежих весенних платьях». Это май 1934 года. Вот эти женщины в весенних платьях посреди Москвы (Нащокинский переулок, мои места!). А вокруг – террор (не нынешний, а тот, государственный). И живут на дачах, качаются в гамаках, при-

нимают гостей... Всюду жизнь? Или – всё то же мужество жить?

Кто теперь читает Эренбурга? Кто теперь вообще что-нибудь читает? Веру Панову, например? Да ее и знать никто не знает. И даже Трифонова. Вот его, как мне кажется, тоже занимала загадка тридцатых годов. Изгнание из рая – из Серебряного Бора, из дома на набережной...

А у Эренбурга была Мадо. Не леди Эшли, конечно, но все же... Англичанка Брет, француженка Мадо и наши в нарядных весенних платьях – судьбы разные, но поколение одно: тот же век, тот же воздух, грозовой, предгрозовой.

Лучше всех знает Эренбурга и ту эпоху Борис Фрезинский, и мы не раз говорили с ним о странной атмосфере двадцатых-тридцатых годов.

Почему меня так занимает это время, эти люди? Сама не знаю. Почему в них «все вглядываюсь, вглядываюсь, вглядываюсь я»? Разве не всякое время и всякое поколение загадочно? Да хотя бы и наше. Но судить не нам, а тем, кто после нас будет, может быть, вглядываться в нас...

А тот жестокий подцензурный век (век-волкодав) оставил не так уж много бумажных свидетельств о себе: писем, мемуаров. Дневники скупы, письма еще скупер. Переписка Лили и Эльзы – сплошные тряпки! Разве мыслимо было доверить бумаге свою и без того насквозь продуваемую жизнь!

И все же женщины тех лет умудрялись на смертельно опасных сквозняках оставаться изящными и прелестно лег-

комысленными. Как им это удавалось – вот загадка! Конечно, Брет Эшли тут ни при чем – она жила в Париже, а не в Москве.

А в Москве, например, жила Людочка, Людмила Васильевна – мать Инги. Коммуналка на Потылихе, двое детей, мать («Люда! Уйми своих бандитов!» – это по телефону на работу), внешняя хрупкость, капризность, а внутри – сильная женщина. Будто и не стараясь ничуть, умела внушить окружающим одно лишь чувство по отношению к себе – обожание. Сопrotивлялся ему только Максим, да и то из ревности. «Дега, Мане, – зло говорил он, – а спирт воруют».

Ничего она, конечно, не воровала, думаю, ей просто иногда отливали в мосфильмовской лаборатории, где она работала.

Приходя, она в изнеможении падала на диван и ничего, сколько я помню, дома не делала – только читала. Иногда, если удавалось уговорить, что-нибудь совершенно великолепное шила. Однажды сшила мне юбку. Это в пятьдесят седьмом году перед фестивалем. В моде тогда был ситец («Ситцевые, ситцевые, что вы! Вы с ума сошли – она ж своя!»). Кусок ситца синего с большими желтыми подсолнухами достала Инна, им в каком-то распределителе («Комсомольская правда») выдавали. Инна достала ситец. Инга уговорила Людочку сшить юбку, потрясшую обе столицы: ничего такого яркого тогда еще не носили.

По субботам Людочка уезжала к любовнику. Впрочем,

слово это в доме не произносилось – только имя. Она, по своему обыкновению, лежала и читала, а он все названивал нетерпеливо. «Людочка, – говорила Инга. – Поезжай же, наконец, неудобно». «Скажи ему, что я уже уехала», – отвечала она, смеясь.

Почему-то именно с ней связаны для меня стихи Асеева:

Сиди ж и слушай,
глаза сужая,
совсем далекая,
совсем чужая...

И еще:

Целый день лукавя и фальшивя,
Грустные выдумывая штуки,
Вдруг – взметнешь ресницами большими,
Вдруг – сведешь в стыде и страхе руки...

Была в ней эта магия, необъяснимая словами женственность. А кончилось трагично: ранний инсульт и неподвижность на многие годы.

* * *

От тебя ухожу я

В шумящий Париж...

Н. Тихонов

Это тот ранний Тихонов, влюбленный в жену Эренбурга Любовь Михайловну Козинцеву. Его парижский цикл с посвящением Л.М.К.:

Плывет над площадью пустой
Июльских дней настой.
И бронзовый стоит на ней
Веселый маршал Ней.

Так давно нравились мне эти стихи, но даже подумать не могла, что увижу когда-нибудь маршала Нея среди каштанов у знаменитого кафе «Клозери де Лила». Для меня знаменитого тем, что здесь Хемингуэй писал «Фиесту».

Я летела в Париж через Прагу. «Поклонись лебедям на Влтаве», – сказала мне Инна. Я спросила: «Ким?» «Да», – сказала она.

В 1991 году я приезжала к ней в Прагу, где она работала после гибели Кима, после того октября 90 года, когда она так страшно кричала, не помня себя...

Мужество жить

Академия свободной прессы определила победителей по итогам 1997 года. В номинации «Мастер» лауреатом стала

Инна Руденко («Комсомольская правда»). Она – первая гостья, о которой мы рассказываем в нашей новой рубрике «Столичный гость».

В черной рамке на газетной полосе – фотография человека с доброй улыбкой и грустными, много чего повидавшими глазами. Это Ким Костенко. Это о нем: «Журналисты “Комсомольской правды” всех поколений скорбят по поводу трагической гибели Кима Прокофьевича Костенко и выражают глубокое соболезнование его жене – Инне Павловне Руденко».

Какие это были страшные дни! Иннин крик, ночные телефонные звонки из разных городов и весей:

– Это правда?

– Да.

– Инна может подойти к телефону?

– Нет...

Она не могла подходить к телефону, не могла говорить – хотелось только кричать, выть от внезапности, непоправимости обрушившегося горя...

И вот уже много лет прошло с тех пор. Много лет, изменивших страну и всех нас, живущих в ней. Но, но правде говоря, в чем-то главном не изменился никто. Все дело в том, что у каждого свое представление о главном, и в журналистике это проявляется очень отчетливо – как на лакмусовой бумажке.

По итогам прошлого года Инна Руденко стала лауреатом

не только Академии свободной прессы. («А что это за Академия?» – спросила я у лауреата. «Я сама задала тот же вопрос, – засмеялась она. – Оказывается, это – редакторы крупнейших московских газет».) Так вот, еще до Академии свою, внутреннюю, премию Инне присудила «Комсомолка». Та номинация называлась «Возвращение». Символично, но не столько для Руденко, сколько для самой газеты, вернувшейся к тем самым темам и ценностям, что еще года два назад считались здесь немодными, устаревшими.

– Мне говорили: «Это никому не интересно», – и выбирали материалы в корзину. Говорили: «Поймите, вы вернулись в другую страну, где все изменилось».

Два года после гибели мужа она работала в Праге собственным корреспондентом еженедельника «Новое время». Мужество жить... Когда все и повсюду напоминает о потере, когда вместо всех привычных и дорогих жизненных стимулов остается один, самый жесткий: надо. Надо работать и обеспечивать семью (сын лежал в больнице), надо разбираться в происходящем – столь же бурном в Праге, как и в Москве, надо посылать в редакцию материалы, достойные собственного имени.

Мужество жить... Когда в родной «Комсомолке» на тебя, вернувшуюся, новые мальчики и девочки смотрят, как на прошлогодний снег, что давно сошел. Жаль, что нет такой номинации: «Терпение». Оказывается, и журналисту в России, а не только писателю, что общеизвестно, следует жить

долго. Набираться терпения и ждать, когда слетит шелуха и вновь откроется, блеснет, как луч солнца на стене, смысл истинного, вечного. А что вечно? Конечно, человеческая суть, явленная в судьбе, в поступках, в душе, если угодно. Об этом всегда писала и пишет Инна Руденко, и таким материалам еще недавно в редакции выносили приговор: «Не интересно».

Когда-то она говорила: «Я умная только на шестом этаже». Лукавила, конечно, но доля истины в этой шутке была: разве не раскрываются наши способности и таланты, вообще весь потенциал личности более всего там, где нас любят, ценят, «носят на руках»? Именно такой долгие годы (во всяком случае, для Руденко) была атмосфера шестого этажа, на котором в бывшем комбинате «Правда» размещалась «Комсомолка».

Потом поменялись и ориентиры, и кумиры. Но пена дней, выплеснувшись, чуть было не унесла вместе с безусловно устаревшим, отжившим и то, что во все времена почиталось ценным: внимательное, бережное отношение к отдельной человеческой судьбе. Не во всех изданиях это поняли.

– Согласись, и ваша газета не доросла еще до понимания, что не только «звездные», но и обыкновенные люди с их проблемами могут быть интересны обществу.

– Тот самый «маленький человек», по определению великой русской литературы?

– Да, именно он. «Известия» в этом смысле дают «Комсо-

молке» фору.

– Пожалуй. Там бывают очень сильные материалы. Например, «Ничей» Поляновского в одном из мартовских номеров...

Кстати, именно Поляновский опубликовал в «Известиях» большой очерк о Киме Костенко, журналисте и солдате, освобождавшем Прагу, увенчанном всеми мыслимыми наградами.

А он, Ким, когда-то говорил Инне: «Это ты – моя главная награда», гордился ею, и как был бы счастлив знать, что она не сломилась, не потерялась-растерялась, а, как бегун на длинной дистанции, обрела второе дыхание. «Комсомолка» же, в роли опытной свиты, играющей королеву, дала на первой полосе в канун 8 Марта фотографию Инны рядом с президентом Ельциным, который с удовольствием, как выяснилось, читал ее очерки еще в те – советские – времена. «Президент назначил свидание Инне Руденко» – крупным кеглем шло через всю полосу. Молодцы!

– А по-моему, это уже чересчур, – говорит Инна.

– Чересчур было, когда они гнобили твои материалы. Слава богу, при новом редакторе опомнились.

– Пожалуй, это верно, что надо уметь терпеть.

– Если бы только терпеть! Надо еще уметь работать.

Великое свойство – уметь работать, быть профессионалом, оставаться верным раз избранному делу – любимому, надоевшему, рискованному, рутинному... Хорошо сказано

об этом в одной давней поэме:

...Как пилот к родному самолету,
молчаливый, собранный к полету,
трезвый и хмелеющий идет,
так и я иду в свою работу,
в каждый свой рискованный полет...⁴

Р. С. Много-много лет назад две девочки-третьеклассницы храбро постучались в кабинет главного редактора областной газеты и положили перед ним сочиненную ими заметку с названием «Дочери Родины». Шла война, и девочкам казалось, что выразить переполнявшие их чувства можно лишь, придя в газету. А газета называлась «Иссык-Кульская правда», и было это в Киргизии, в городе Пржевальске, куда девочек эвакуировали, увезли от войны. Одну – из Москвы, другую – из Полтавы.

Ту, что из Полтавы, звали Инна Руденко.

* * *

Прага, через которую я спустя несколько лет летела в Париж, опять была прекрасна. Золото и черепица и широкая река. Но – удивительно! – на обратном пути она показалась мне словно облезлой, совсем не сверкающей... Париж кого

⁴ Стихи М. Алигер.

хочешь затмит.

Вот я сижу на крохотном чугунном балкончике (весь город в чугунной гирлянде балконов) и смотрю на парижский дождь. Неужели это Париж? – не верю я самой себе. Мон-мартр, дождь, бульвар Рошешуар, отель в арабском квартале. Илонка прилетит из Петербурга только завтра, и я одна на этом балконе «сiju и смотрю, как парижский дождь моет парижские крыши».

Много-много лет назад, когда всё, что западнее Выборга или Ужгорода, было почти недоступно, проездом через Париж поехал работать в Африку Юра Синочкин, муж Лиды, Илониной подруги еще по Пржевальску, потом Ленинграду. Так вот это он написал Лиде, а она рассказала нам: «Сiju и смотрю, как парижский дождь...» Чем-то поразила меня эта фраза. Я даже вставила ее потом в «Московский роман». И вдруг сама «сiju и смотрю...». И такие странные ощущения, как вихрь, вокруг меня. Ощущаю одновременно, под шум дождя, как мгновенно, словно и не было, пролетели годы и какая бездна лет позади. Долгая короткая жизнь. И все обиды, обиды... Казалось бы, зачем про них, таких давних, здесь, в Париже?

Я ужасаюсь нелюбви твоей,
Когда в моем оцепененье сонном
В какой-то миг над пиками церквей
Блеснет твое полуденное солнце.

Все остальное можно пережить,
И дальше жить, легко и трудно жить,
И улыбаться, и блеснуть глазами...
Ах, что важней на свете, чем мы сами
И наших поражений горький счет?

Но нелюбовь твоя меня гнетет —
Она мне так отчаянно мешает,
В слепой ночи слезами украшает
И утром вновь, как утро, настает.

Стихи 68-го, что ли, года...

В номер стучат, оказывается, приехала Кристиан показать мне ночной Париж. Она лихо ведет свой «ситроен» сквозь бушующий ливень по пустым, сказочно освещенным улицам. Большие бульвары, площадь Согласия, Елисейские Поля... И все это в сияющем ливне. Не забыть.

На другой день приезжает Илонка со своим классическим французским, и мне, безъязыкой, этот волшебный город делается понятней и ближе. Вместо путеводителя у нас «Праздник, который всегда с тобой», и мы едем на улицу Кардинала Лемуана, на площадь Контрэскарп, бульвар Сен-Мишель...

Вернувшись, пишу для газеты «Невское время» заметку, и вот, в частности, о чем:

Билет парижского метро

Фильм назывался «Плата за страх», великий фильм, в котором Ив Монтан играл молодого парня, везущего по горной дороге смертоносный груз. Долгая, изматывающая нервы дорога, опасная, как война. Если он преодолеет ее, то получит деньги и сможет вернуться в Париж. Как талисман, как надежда и вера, – билет парижского метро в его кармане.

Почти доехав, он все-таки погибает, и треплется на ветру в последнем кадре выпавший из кармана клочок бумаги – билет в несбывшуюся жизнь.

Вспомнила этот фильм в вагоне парижского метро, так не похожего на петербургское или московское. Его построили в начале века, когда по улицам еще ездили фиакры. «Я кликнул фиакр, и он подъехал к тротуару. Удобно усевшись в медлительном, мягко катящем фиакре, мы поехали по широкой, сияющей огнями и почти безлюдной авеню Оперы...»

Это – Хемингуэй, роман «Фиеста», удивительный роман, в котором радость и горечь жизни перетекают одна в другую, как улицы и площади Парижа. Да и сам Париж – живое действующее лицо романа. Все изменилось, а он остался: бульвар Сен-Мишель, площадь Контрэскарп, бронзовый маршал Ней возле кафе «Клозери де Лиля»... Все – неизменно и вечно, чего не скажешь о наших древних городах, например, Москве, которую безжалостно сломали, разрушив

ее неповторимый облик.

Петербургу еще повезло, что не был столицей при Сталине – Хрущеве – Брежневе. Потому многое осталось у нас, как и в Париже, неизменным и, будем надеяться, вечным.

Путешествия, как известно, побуждают к сравнениям.

Парижане часто вспоминают добрым словом Ширака-мэра. Когда нынешний президент, говорят они, был мэром, то много хорошего сделал для города. Сотни газонов и клумб, чистые нарядные фасады, залитая огнями ночная столица, целая армия уборщиков улиц, одинаково, как и подобает армии, одетая в ярко-зеленые комбинезоны и вооруженная зелеными метлами, – это всё Ширак в своем стремлении стать любимцем парижан. Похвальное, что и говорить, стремление.

Доживем ли мы когда-нибудь до чистоты и света на наших улицах? Парижане, побывавшие в Петербурге, спрашивают: «Почему у вас люди на улицах такие хмурые? У нас тоже бывали тяжелые времена. Все равно надо улыбаться. Хотя бы надежде».

В самом деле, надежду-то никто не отнял. Скажу больше: многое из того, на что и надеяться казалось бессмысленным, уже сбылось. В Париже я говорила с преподавателем, приехавшим из Петербурга поучиться и поработать, ему нравится Париж, и он хотел бы пожить в нем несколько лет. Для людей всего мира – это нормально, а для нас совсем не так давно стало возможным. Как и многое другое, к чему так быстро

привыкли, что даже перестали замечать.

...Слишком долго мы подчинялись запретам, страшась их нарушить. А плата за страх часто бывает жестокой, и платить приходится всем. Чтобы не забыть об этом и многом другом, что открывается, когда раздвигаются границы мира, я храню у себя билет парижского метро. Но, вспоминая Париж, не сравниваю его с родными российскими городами. Не потому, что сравнения не в нашу пользу, вовсе нет. Классически строгая красота Петербурга – такое же творение человеческого гения, как и празднично-нарядное барокко Парижа. Но вот люди... Люди там улыбаются чаще. Их жизнь устроенней, устойчивей, чем наша.

Но, может быть, и у нас есть шанс?

* * *

Чему, чему свидетели мы были!

А. Пушкин

Париж в это сочинение ворвался вне хронологии. От старого «Скороходовского рабочего» до Парижа еще целая вечность. Как от старой редакции до новой. Новая, как когда-то «Клуб Вернандер», определяет что-то главное в жизни, в ее сути. Не просто вместе работаем, а вместе противостоям советскому абсурду. Противостоим, смеясь. Для меня это почти домашняя атмосфера. Шутки (за каждую, кстати ска-

зять, можно и поплатиться) перетекают из дома – в редакцию, из редакции – домой... Когда беда непоправима, смейся над ней. Завет Козьмы Пруtkова – на все, как оказалось, времена. Чуть-чуть было поверили, что «беда» поправима, это в конце 80-х – начале 90-х, и снова – обухом по голове.

Помню, как мы с Левинским встретили на Невском Бориса Зеликсона, одного из тех, кто отсидел в лагере за то самое сочинение «От диктатуры бюрократии – к диктатуре пролетариата». Борис вытащил из туго набитого портфеля большую амбарную книгу и прямо на Невском прочел нам целую лекцию о «текущем моменте». Его, как и нас, захлестывала эйфория. А вот Фрезинского – нет. Когда на дне рождения у Зябловой Зеликсон заявил, что «если Горбачев отступится, я на него с вилами пойду», Фрезинский заметил скептически: «Боря, ты уже ходил с вилами».

Все-таки это еще было время споров, время надежд. Сейчас уже никто ни о чем не спорит. «Умрем при Путине», – как сказал все тот же Фрезинский.

А Зеликсон и в самом деле умер при Путине. На его похоронах выступали академики из Москвы и бывшие диссиденты из Петербурга. Какими они выглядели (хоть и обидно это говорить) бедными и жалкими, в каких-то потертых пиджаках. Не про них эта новая жизнь, не для них. А ведь это они (они тоже!) приближали ее как могли, боролись (пусть наивно, не всегда различая дороги), страдали нешуточно. Но вот уж воистину «победитель не получает ничего». И уж ко-

нечно, никакого удовлетворения от нынешней картины мира. За что боролись?

До сих пор не люблю Суворовский проспект и улицу Шпалерную (бывшую ул. Воинова) – это все дороги в Смольный, где «как я ни мучал себя по чужому подобию», все равно всегда оставалась белой вороной и не люблю вспоминать эти годы. Нет, не работу, конечно, не людей в «Ленинградском рабочем», а именно Смольный.

Работа мне как раз ужасно нравилась, и когда меня в конце концов выгнали, именно работы было жалко больше всего. Когда из «Авроры» выгнали, работы-то как раз меньше было жалко. Журнал – не газета.

Почему меня все время выгоняли? Все-таки это странно. Меня, так любившую работать?

Историю с рассказом Голявкина, из-за которого, как думают все, меня и выгнали из «Авроры», изображают кому как вздумается. Никто так не врет, как очевидцы, – это известно. Мы-то (Люда Региня, Люда Будашевская, Леня Левинский и я) помним, как все начиналось и чем закончилось.

13 мая 1981 года умерла мама. В тот день мы привезли ее из больницы, постель была уже приготовлена. «Поверните меня на бок», – попросила мама. И тут началась смерть. Мама что-то силилась сказать нам, своим дочерям, как будто объяснить что-то, уже известное ей. И вот эта последняя фраза костенеющим языком: «Я умираю» – и больше ничего...

В один из дней позвонила Наталья Крымова. Мы тогда еще даже ни разу не виделись, но по телефону общались бесконечно: ее статья «О Высоцком» шла в «Авроре». Вернее было бы сказать так: ее статью «О Высоцком» я, как бурлак баржу, тащила сквозь мыслимые и немыслимые цензурно-партийные рифы. Придирались к каждой фразе, а Крымова не соглашалась на поправки, а я металась между обкомом (неким Барабанщиковым) и телефонными переговорами.

(Недавно, читая «Гастрольный роман» Рецептера, вновь наткнулась на Барабанщикова. Оказывается, он склонял Рецептера и Стрельчика к участию в антисионистском комитете, «...товарищ Барабанщиков, имя и отчество я по дороге учил наизусть, но с тех пор безнадежно забыл», – пишет Рецептер. Я тоже забыла имя, но фамилию – до чего ж выразительна! – никогда.)

И вот Крымова в очередной раз звонит, а я сплю, набегавшись по загсам и моргам и, вскочив с дивана, хватаю трубку. «У меня мама умерла», – говорю я.

Пятнадцатого мая – похороны. Шестнадцатого исполняется 25 лет нашей с Борисом общей жизни, он дарит мне хрустальную солонку...

А статью Крымовой обком все-таки запрещает. И я решаюсь на безумный по тем временам шаг: еду в Москву, чтобы пробиться в ЦК и, может быть, – чем черт не шутит! – отстоять Высоцкого.

Вот тогда я и пришла в первый раз к Наташе Крымовой. Вижу, как она радостно изумляется, видимо, мой поступок представляется ей необычным. Знала бы она, как мы еще до обкома и цензуры дурили голову Горышину, чтобы заполучить его подпись на гранках перед отправкой в печать. Была зима, он отдыхал в Дюнах, и мы (Региня, Левинский и я) поехали к нему на машине нашего художника Валеры Толкова, прихватив водку, стаканы, закуску и вместе с Глебом в заснеженном лесу как следует выпили и после этого подсунули ему гранки. Но в ЦК с водкой не пойдешь, как быть? Выясняется, что у Наташи есть подруга в отделе культуры, может быть, через нее?

Словом, нам удалось «натянуть нос» ленинградскому обкому, из ЦК позвонили, велели печатать. Бывают же чудеса! Но эти чудеса стоили мне работы, когда разразился скандал с «Юбилейной речью» Виктора Голявкина. Не столько за Голявкина меня выгнали, сколько за Высоцкого, за то, что посмела пойти против обкома.

* * *

Листаю жизнь свою,
Где плачу и пою...

Д. Самойлов

Очень много плакала. От обиды (все работают, все при деле, а у меня даже телефон не звонит), но не только от обиды. В основном из-за «дисфункции щитовидной железы». Так звучал диагноз. «О, да вы наша больная! – такими словами встретила меня врач-эндокринолог. – У вас случилась какая-нибудь психологическая травма?»

У этой «травмы» были имена и даже место действия. Ненавижу смольнинские коридоры и высокие двери кабинетов. За этими дверями всегда – что-то неприятное для меня. Ну вот хотя бы выволочка за «Три мешка сорной пшеницы», это еще в бытность мою редактором «Ленинградского рабочего». Была такая форма наказания: «провести беседу» (вообще-то я испробовала на себе почти все формы партийных взысканий, кроме крайней – «положишь билет»). Так вот, «беседа». Два заведующих отделами (пропаганды и культуры) и я, вызванная на ковер за то, что опубликовала в газете хвалебную рецензию на товстоноговский (тендряковский) спектакль, признанный властями вредным.

Совсем другая беседа ждала меня спустя два дня в кабинете Товстоногова. Георгий Александрович благодарил за рецензию, казался усталым, измученным, сказал: «Уехать бы надо из этого города». На его письменном столе стояли три миниатюрных мешочка из настоящей мешковины и с настоящей, надо полагать, пшеницей. Только жизнь вокруг была не настоящей, с не нами выдуманными абсурдными правилами. А уж история с голявкинским рассказом – чистый аб-

сурд.

Вот я вхожу в очередной кабинет, где состоится судилище. Валентина Матвиенко, нынешний петербургский губернатор, а тогда первый секретарь обкома комсомола, в бордовом бархатном пиджаке не успевает погасить улыбку: чему-то, видно, здесь смеялись, но уже через секунду лицо изображает скорбь. Вообще все очень скорбны, как будто в кабинете – покойник. (Кстати, рассказ Голявкина начинается фразой: «Трудно представить себе, что этот чудесный писатель жив».)

Высказываются по очереди – заклеить преступников должен каждый. Галина Пахомова (завотделом культуры), когда очередь доходит до нее, не выдерживает и отклоняется от заданного курса: «Зачем вы так отстаивали статью о Высоцком? – спрашивает она меня. – Хотели потрафить молодежи?»

Проговорочка по Фрейду: не о Высоцком же сегодня речь. Вот Матвиенко – та смотрит в корень: «А вы неплохую зарплату получали», – укоряет она меня. В одной фразе – вся нехитрая философия жизни.

Я вернулась в «Аврору» забрать вещи, позвонила Борису: – Ну, меня уволили.

– Иди домой, – сказал он и... побежал в магазин за водкой.

Это был уже февраль 1982 года, злополучный номер журнала с «Юбилейной речью» вышел в декабре 81-го, статья Крымовой – в августе, а в октябре я была в Болгарии, в от-

пуске.

...Как горы, что не лгали мне,
Как месяца рога.
И я ношу Болгарию
На коже, как загар.

Так вот как раз тогда, когда рассказ Голявкина проходил стадию верстки, меня в редакции не было. Я впервые и прочитала-то его уже в журнале, после того как мне домой позвонили из канцелярии секретаря по идеологии и велели срочно привезти номер.

– Велят срочно привезти номер, – сказала я Люде Регине. – Как ты думаешь, что они там могли увидеть?

Лихорадочно листаю страницы и ничего крамольного (идиотская недалёковидность!) не обнаруживаю. Обнаруживает отец Люды Антон Павлович Региня, мудрый, светлый человек.

– Ты знаешь, – перезванивает мне Люда, – папа говорит, что наверняка из-за «Юбилейной речи».

Я хватаюсь её читать и хохочу неудержимо, звоню Людке, и мы хохочем вместе, уже все поняв: если они (а как потом выяснилось, и вся страна) имеют в виду Брежнева, то это так смешно, как Голявкину (не имевшему, разумеется, в виду генсека) и не снилось.

А до всего этого в октябре 81-го, именно 6-го, в мамин день рождения, до которого она не дожила, я в тоске сижу

на болгарском пляже и смотрю в море. Там, за морем – Батуми, уже совсем нереальный. Но то, что было, нам хотя бы известно, а вот что будет – нет.

А будет вот что: я после увольнения из «Авроры» уеду весной 1982 года в Хаапсалу, напишу «Московский роман» и привезу рукопись в Москву. И снова 6 октября, а я на Тверском бульваре в машине Лены Брусковой думаю о причудливых поворотах судьбы. Могла ли я год назад на болгарском пляже представить себе, что через год в этот день Брускова понесет мою невесть откуда взявшуюся рукопись в журнал «Знамя» к Наталье Ивановой, а я на любимейшем своем бульваре буду ждать ее?

Позади – лето в Хаапсалу, комната в доме у бабушки Лийзе, окно, выходящее на залив, лебеди, солнечные часы на «променаде», одиночество, дожди и эти галеры в виде листа бумаги, к которым я сама себя приковала. Пишу исключительно «из гордости», тщусь доказать (кому?), что меня еще рано списывать с корабля.

Хаапсалу – моя отдельная любовь. Несколько лет подряд я ездила туда с запасом бумаги и авторучек, как и напороочила мне в одном из своих писем Наталья Крымова:

Магда, моя хорошая!

Как я рада! Не сразу поняла, что это за страничка из «Комсомолки», а потом вдруг осенило. Вот тебе и наш свет из сиреневых окон, – все верно, все как надо,

и Александр Сергеевич тебе это подтвердил.

(Дело в том, что перед этим я посылала Крымовой полосу из «Комсомолки», где стараниями Инны Руденко были напечатаны мои стихи:

День рождения, Шестое июня!
Вот опять мы бездомны и юны,
Вот опять нас пронзает, как током,
Прежний свет из сиреневых окон.
Что за лето в Москве, что за лето!
Одуванчики с цоколем вровень...
Как легко мое сердце согрето
Этим камнем из плоти и крови.
Над молчаньем цветущей травы
Этих каменных глаз отраженье,
Этой каменной шляпы движенье,
Этот миг – от строки до строфы.
Будем счастливы тем, что мы живы
Средь июньской непыльной листвы,
Что бегут облака торопливо
У склоненной его головы.

Сиреневые окна – это, между прочим, сиреневые стекла в окнах дома, где жила Ермолова, на Тверском бульваре, и где сейчас ее музей.)

Где ты – в Л-де или в Эстонии? Хочу думать, что ты уже собрала свои бумажки, взяла запас шариковых стержней и, помня этот привет от Пушкина, уехала из

города, где романовская династия еще что-то вершит. Ты – молодец, и мы с тобой – неплохие и нестарые утопистки.

Вдруг вспоминаю, как по мокрому снегу бродили мы с тобой по Ваганькову, и думаю, что это был важный день. Я его очень запомнила.

...Целую тебя, и ужасно рада, что мы нашли друг друга. Это навсегда, я знаю.

Жду письма.

Радуга над Таллином

Мы въезжали в радугу. Она широко раскинулась разноцветными воротами над шоссе, ведущем из Хаапсалу в Таллин. «Хороший знак», – сказала Наташа Маллеус. Но это был знак расставания. Я еще раз и, возможно, теперь уже навсегда расставалась с местом, которое когда-то стало моим прибежищем. Но чтобы все объяснить, надо начать с начала.

«Была другая, непонятная жизнь»

Сейчас я думаю: «Господи! С чего было так мучиться?» А ведь мучилась, терзалась, даже заболела, похудела так, что вокруг ужасались, предполагая худшее.

«Незабавно умереть в Опоческом уезде», – писал Пушкин Вяземскому, умоляя вызволить его из михайловской ссылки.

«Незабавно» было мне оказаться героиней анекдота, ку-

рье́за, прослави́ться в качестве бедолаги, которую как неблагонадежную выгнали с работы партийно-комсомольские бонзы. Неблагонадежность моя была очевидна: еще раньше я совершила безумный с точки зрения партийной этики поступок. Поехала в Москву, в ЦК партии, добиваться опубликования зарезанной цензурой и обкомом статьи о Высоцком. В какое чудовищное время мы жили! А статья была прекрасная, ее предложила журналу известный московский критик Наталья Крымова.

Разве можно было такое простить какой-то там Алексеевой? Вот и не простили, вот и выгнали при первом удобном случае. Случай, правда, оказался совсем неудобным: вся страна смеялась.

Я тоже смеялась. А потом плакала. Потом, когда жизнь покати́лась дальше, все при деле, все работают, все про тебя забыли, отсмеявшись, а ты стоишь «на полустаночке» и смотришь, как «мимо пролетают поезда».

Вот тогда и пришла ко мне эта первая фраза, неизвестно почему и зачем: «Была другая, непонятная жизнь: Париж, к которому он так и не привык...» Кто такой – он? Почему Париж? Но фраза, как соломинка, явилась и не забывалась и каким-то странным образом помогала держаться на поверхности дней: «...другая, непонятная жизнь, была другая, непонятная жизнь». И я вдруг поняла, что это – первая фраза романа, что надо писать роман. Именно – роман, не больше и не меньше.

Поехали в Хаапсалу!

Чтобы написать роман, надо куда-то скрыться. От хотя и редких телефонных звонков, сочувствующих взглядов, вопросов, советов. Первое, что пришло в голову – Эстония. Милая, любимая Эстония, в которую мы без конца ездили сначала на мотоциклах, потом на машинах и которая принимала нас скрепя сердце. Мы были оккупантами, не именно мы, но все равно это с нашей, русской стороны, из-за Наровы, из-за Петсаари пришли те, кто заставил маленькую страну жить по чужим законам. Как ни люби Эстонию, ты все равно останешься для нее чужаком. Любовь без взаимности. Это огорчало, но не обижало. Так и должно было случиться: нашей вины нет, но нам ее расхлебывать.

И все же – Эстония! Не Москва – моя родина, не Карельский перешеек, где столько лет жили на всяких разных дачах, – Эстония.

Стопка бумаги, несколько авторучек и эта странная, неведомо откуда взявшаяся фраза – «была другая, непонятная жизнь», – вот и весь багаж, с которым я чуть больше двадцати лет назад, в июне 1982 года, приехала в Хаапсалу.

Двадцать лет и два дня

Двадцать лет – это даже для исторической эпохи немало. Особенно если эпоха пришлась на время крутых перемен. Той Эстонии, в которую когда-то приезжали, больше нет.

И слава богу, что нет. Нет уже этого разлитого в воздухе чувства национального ущемления. Оно ощущалось во всем – в разговорах, взглядах, рассказах о прошлом. «О, это было еще в эстонской Эстонии...» В эстонской – не в советской.

В эстонской Эстонии моя квартирная хозяйка в Хаапсалу Лийзе Роо прожила половину своего долгого века. Ей исполнилось сто лет в 1989-м, как раз в канун больших перемен. Столетие Лийзе торжественно отмечалось в таллинской ратуше, но увидеть свою Эстонию вновь эстонской ей уже не довелось.

И вот мы стоим у ее дома на улице Линда, 11, опустевшего, заколоченного... Мы – это Наташа Маллеус, продюсер эстонского телевидения, Ира Михальченко, тележурналист из Петербурга, и я. Мы приехали, чтобы снимать задуманный Ирой телевизионный фильм, который потом назвали «Магда», и я рассказываю своим спутницам о Лийзе, что жила здесь – в двух шагах от дома, где останавливался приехавший в Хаапсалу Петр I.

Почерневшая от времени доска, свидетельствующая об этом событии, по-прежнему висит на бревенчатой, тоже изрядно почерневшей стене. Доска осталась, а вот улицу переименовали. Раньше она называлась улицей Вийдемана, теперь – Рыцарская. Вийдеман – академик, родился здесь, а умер в Петербурге в позапрошлом веке. Когда возвращали улицам прежние имена, не пощадили и академика.

И вот еще один штрих к изменившейся действительности:

в стране создана языковая инспекция, призванная окончательно изгнать с эстонских улиц кириллицу. Раньше ведь как было? Любое наименование дублировалось на русском. Сейчас ни одной русской вывески вы здесь не встретите. Государственный язык – эстонский, извольте с этим считаться! А мы? Мы-то, наоборот, все свои города завесили латиницей, все по-английски (иногда по-французски) и даже без перевода на язык родных осин.

Так что же жизнь в заново создающей себя Эстонии – возвращается на круги своя или идет вперед? Вернуть старые названия проще простого, сложнее ощутить себя независимым, европейски воспитанным обществом. Впрочем, Европа здесь для нас всегда была гораздо ближе, чем в других краях. Это как контраст между засиженной мухами российской чайной с ее алюминиевыми вилками – и изящно сервированным ужином (и непременно цветочек в керамической вазочке!) в придорожной столовой где-нибудь между Муствеэ и Ййзаку. А уж про Таллин и говорить нечего.

В этом смысле не так уж много изменилось, но европейского лоску, несомненно, прибавилось. И в Хаапсалу тоже. Новые отели, новые кафе, весь город как-то подтянулся, повеселел, выкрасился. А поезда из Таллина в Хаапсалу уже не приходят, автобусное сообщение выгоднее железнодорожного, и знаменитая платформа («самая длинная в Европе», как писали во всех путеводителях) простаивает. Однако и ее принарядили, покрасили – достопримечательность все-таки!

Главная же достопримечательность Хаапсалу, ее бренд, если угодно, – это Белая Дама. В августовское полнолуние в высоком окне Замковой башни XII века появляется силуэт некогда погибшей здесь (из-за любви, разумеется!) эстонской девушки. *Valge Daam* – особая приманка города, его доходная статья.

Настоящий помещик

Сколько впечатлений за два дня! Хоть и призывал в своих стихах Геннадий Шпаликов «никогда не возвращаться в прежние места», я ничуть не жалею о возвращении. Разве что о краткости его. И все же я успела увидеть то, что хотела: черепичные крыши и шпили, и аистов у дороги, и вечный праздник на Ратушной площади в Таллине, и старую липу в конце улицы Линда, и луну над полями, мимо которых мы ехали, отыскивая ферму – место своего ночлега. И вот уж кого никак не ожидала встретить – настоящего современно-го помещика.

Сто гектаров земли – леса, поля, дорога к морю, морской берег... И сауна в саду, и обновленный дедовский дом, где в одной половине живут, а в другой принимают туристов. Старинная прялка под деревянной полированной лестницей, камин, керамика, цветы, а наверху спальни, и с балкона такой вид, что только за него можно брать деньги.

Все это – владения Яака и Юты Сьунт. По закону о реституции Яак получил восемнадцать гектаров дедовской земли,

восемьдесят два купил у государства.

...Утром, к тому времени, когда мы, выспавшись, спускаемся к завтраку, Яак с сыном возвращаются из Хаапсалу, куда отвозили утренний улов (с четырех утра – в море) – 80 кг рыбы. Квота на ловлю рыбы, лицензия на охоту, разрешение от санитарной инспекции на прием туристов (30 процентов всех доходов) – все по закону, все облагается налогом, никакой халтуры, «халявы», никакого «авось». Современное упорядоченное хозяйство, и такая красота вокруг!

Дух свободы, поверьте, витает и над этой фермой. Может быть, здесь он даже более осязателен, чем в городах. Человек на своей земле. Совсем не тот, что «проходит, как хозяин, необъятной родины своей». Кто тогда был хозяином родины, мы хорошо помним. А вот Яак действительно хозяин. Работящий и рачительный. «Приезжайте в Петербург», – приглашаем мы его. «Нет, – отвечает он, – нам еще года четыре никуда нельзя ездить». «Почему?» «Зарплата маленькая». «Это же все ваше, какая зарплата?» – удивляемся мы типично по-совковски.

Все тщились когда-то – помните? – воспитать в советском человеке «чувство хозяина». Сколько перьев сломали в газетах, сколько речей произнесли на собраниях. А это чувство, оказывается, приходит само, если ты воистину хозяин. Не пропить, проесть, проездить свои доходы, а вложить в дело, чтобы оно окрепло и расширилось, а на себя истратить лишь малую толику (зарплату). Тут, правда, еще и характер надо

иметь особый. Не просто эстонский – европейский, если хотите.

Андрес и Аллан-Крис

Так зовут Наташиных сыновей. Аллану – десять, а Андре-су – четырнадцать. Почему я пишу про этих мальчиков, которых никогда не видела (они были в спортивном лагере в Отепя)? Для меня они – некий символ новой Эстонии. Наташа – русская, ее отец, моряк-подводник, служил в Таллине, Наташа окончила Таллинский институт, стала журналистом. Ее муж Эльмар Маллеус – этнический эстонец, есть тут и такая категория жителей. Он родился в Сибири, куда его предки в начале прошлого века, еще при царизме, перебрались в поисках лучшей доли.

Новая жизнь поставила перед людьми новые проблемы: надо было получать гражданство, надо было натурализоваться, заполнять бесчисленные бумаги, стоять в очередях, сдавать экзамены... Конечно, можно было оскорбиться, отчаться, в конце концов, плюнуть и куда-нибудь уехать. Но разве это не они сами боролись за новую Эстонию? Разве не стоял Эльмар с маленьким Андресом на руках в той знаменитой на весь мир людской цепочке протеста, что протянулась по дорогам трех тогда еще советских республик, с требованием выхода из СССР? Разве не дали они своим сыновьям эстонские имена, имена их Родины? Все испытать вместе со страной, которую ты называешь своей, – тоже акт гражданского

мужества.

А мальчики вырастут, будут жить в европейском государстве (хочется надеяться, что Европа не задушит Эстонию в своих объятиях, когда та вступит в ЕС). Будут учиться в Тартуском университете или в Сорбонне, как пожелают. А тот август (20 августа в Эстонии – День независимости), тот родительский выбор, те сомнения, надежды, драмы останутся для них всего лишь страницей в учебнике истории. И куда она – история – двинется дальше, не перерастет ли чувство национального ущемления в национальное самодовольство, будет уже зависеть от них и их сверстников.

Час прощания

Мы же возвращаемся в свою азиатскую неразбериху. Самый европейский город России, как любит себя величать Петербург, не так уж далеко ушел от остальной территории. Все те же грязные подъезды, выщербленные тротуары, невеселые, озабоченные лица...

Одно время казалось, что уже все по-другому и к прежнему возврата больше нет. Но разве – нет? Если я, например, назову здесь одно имя, имевшее отношение к той давней истории с рассказом ныне покойного Голявкина, никто в Петербурге не решится опубликовать мои заметки. Кстати сказать, почти все фигуранты литературно-политического курьеза уже на том свете: и Голявкин, вовсе не помышлявший о пасквиле на Брежнева, и сам Брежнев, и главный редактор

«Авроры»... Но некоторые партийно-комсомольские бонзы, затеявшие тот скандальный фарс, не просто живы, а очень живы и снова рулят страной. Я же, наверное, должна быть им даже благодарна, ведь это они вынудили меня уехать в Хаапсалу и начать «другую, непонятную жизнь».

До свидания, Хаапсалу! Мне трудно выговорить «прощай». До свидания, аисты и шпили, и черепичные крыши, и таллинская Ратушная площадь, и улица Виру... Радуга – хороший знак. Пусть он и будет таким для Наташи и Эльмара и их мальчиков, для Яака и Юты, для всей Эстонии, которой кланяюсь низко-низко, до земли.

* * *

Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу...

А. Пушкин

Как понять новую жизнь, находясь внутри нахлынувших на всех нас событий? Перестройка! Что это, как это? – спрашивали друг у друга. «Начните с себя», – твердит Горбачев. Ничего себе совет. Мы-то давным-давно «начали с себя». А что дальше?

Август 1991-го все расставляет по местам. Всё и всех. С каким восторгом мы (спортивная редакция) бежали по Фон-

танке к Невскому, уже запруженному народом, и вместе со всеми – на Дворцовую. «Уронили Мишку на пол, оторвали Мишке лапу, – скандирует шеренга молодых ребят. – Все равно его не брошу...»

Всем понятно: Мишка – это Горбачев, узник Фороса.

А на Дворцовой – Собчак и море людей. Где-то здесь и Борис, и Марина...

«Ты был на Дворцовой?» – главный вопрос тех дней.

И вот уже все меняется – нет цензуры, нет обкома, никаких прежних пут. Вольница!

Но сразу же встает грозный вопрос: где брать деньги? Совершенно новые возникают проблемы: кому принадлежит газета, кому – магазин или вот – парикмахерская? В моей «родной» парикмахерской – настоящая буча: соглашаться или нет на предложение начальства. Начальство еще не упразднено, но то, что оно предлагает, принять трудно, потому что непривычно, пугает. Те, кто тогда не испугались, рискнул, нынче отдыхают на Канарах (если, конечно, остались живы после всяких разборок-перестрелок). Остальные и в новой жизни живут по-старому.

Перейти на подряд?

Всех пугало слово «подряд». Жили, слава богу, без подряда. Неужели и дальше не проживем?

– Глупости! – отвечала Римма. – Вы газеты читаете? Пря-

мо несовременные люди!

Еще года не прошло, как умерла Люся. Уже без нее случилась эта история с Ниной. А тут переходит на подряд! Будет когда-нибудь, наконец, покой?

Первой по утрам приходит Нина, она открывает парикмахерскую, включает свет, переодевается в пустой раздевалке, называемой подсобкой, и садится в кухне покурить. Эти первые тихие минуты самые лучшие. Весь день колготня, галдеж, недовольные дамы, а сейчас никого, тишина.

Нине на днях исполнится тридцать шесть. Двадцать из них она работает в парикмахерской. Первые два года ученицей на Чкаловском, на проспекте Чкалова, который до сих пор многие зовут Геслеровским. А после Геслеровского – здесь. Какими молоденькими начинали, какими дурочками были! Ничего, ничего не знаешь про то, что готовит тебе жизнь. Люся умерла. Вот какое горе. Люся умерла.

Нина закидывает голову, чтобы слезы не попали на сигарету, и беззвучно плачет в тишине. Люся умерла и уже не знает, что потом было с ней, Ниной, как Олег пришел ночью и бил ее, а эта стерва, его теперешняя жена, стояла в коридоре и кричала: «Дай ей еще!»

Люсе никогда не нравился Олег. «Он какой-то темный», – говорила она. «Ну какой он темный!» – хохотала Нина. У Олега светлые волосы и светло-карие глаза. Но то, что он черен душою, первой разглядела Люся. Теперь уж не сказать ей, как была права.

– Приветики! – кричит из подсобки Ира-Сова, прозванная так за огромные, в пол-лица, глаза. Она еще не видит Ни-ны, но понимает, что та уже здесь.

– Привет, – тихо говорит Нина, вытирая слезы подолом белого халата.

– Курим? – спрашивает Сова, заглядывая в кухню. Она уже переоделась и теперь застегивает на высокой груди черный халат. В черном ходят красильщики. – У меня дама на краску записана. Не приходила?

– Никто не приходил, – так же тихо отвечает Нина.

– Плачем, что ли? – вглядывается Сова. – Брось ты, в самом деле, всех слез не переплачешь.

Хлопает входная дверь. И еще раз. И еще раз. Начинается день.

О том, что парикмахерскую надо взять на подряд, заговорили месяца три назад. Непривычная к переменам, заведующая посмеивалась: даст бог, обойдется. Но ей начальник сразу сказал:

– Не обойдется, Римма Григорьевна, не ждите. Берите точку на подряд, пока другие раскачиваются. Передовиком будете.

Передовиком быть, конечно, никому не улыбается; но и отставать ни к чему. Что ж, они, в самом деле, отсталые какие-то? Все меняется вокруг, надо ж понимать.

– А что меняется? – ожесточенно кричала на собрании Зоя Глебова, мужской мастер, наступая на заведующую. –

Может, к лучшему что-нибудь меняется? Сахар по талонам стали продавать – вот тебе и перемены!

– При чем тут сахар? – вступилась за Римму Григорьевну молоденькая маникюрша Таня.

– А при том, – повернулась к ней Зойка. – Ты еще ничего не понимаешь, мало на свете прожила.

Словом, как всегда, не собрание, а базар. Большинство голосов в конце концов все же решили: на подряд не переходить, изучить пока чужой опыт. И хоть Римма Григорьевна, стараясь перекричать визгливую Зойку, объясняла, что «чужого опыта пока нет, негде его изучать» и что «должен же кто-то начать первым», решили не переходить.

– А кто нас заставит? – кричала Зойки. – Нынче демократия!

– А говоришь, не меняется ничего, – устало сказала Римма Григорьевна, но Зойка, похоже, ее не поняла.

Теперь все почти зовут ее Риммой Григорьевной, с тех пор как стала заведующей, а то все Римма да Римма. В парикмахерской до седых волос ходишь в молодых, так уж заведено: Нина, Люся, Зойка... Ведь уже не девчонки, всем к сорока. А когда отпевали Люсю, старухи в церкви ахали у гроба: «Господи, молодая-то какая!»

Это Зойка старалась, причесывала, собирала, рыдая, Люсю в последний путь. И даже губы подкрасила. Всего двадцать дней болела Люся, не успела измениться. А как меняет людей эта страшная болезнь! А Люся не изменилась. Каза-

лось, сейчас скажет: «Вы чего ревете, девки?» – и улыбнется. Будто улыбка у нее в углах губ. Так и ушла в землю с этой улыбкой...

Была первой помощницей во всех делах, умела обрезать любую и не поссориться. Не посмела бы Зойка пойти сегодня против Риммы, Риммы Григорьевны, если бы на собрании была Люся.

Сорок дней висела Люсина фотография в раздевалке и сорок дней стояли цветы на ее туалете. Но жизнь брала свое. В первое время, объединенные горем, словно помягчели, подобрели друг к другу. А потом опять пошло-поехало. Уже на работу приходят издерганные, злые. Особенно если во вторую смену: уже настоятся в очередях, наругаются со свекровьями, с матерями, мужьями. Бог знает с кем, но наругаются.

– Мой совсем сбрендил! Задумал «запорожец» покупать!

– Я ей говорю: не дергайте вы ребенка!

– Колготки шерстяные давали. Очередь! Да еще ветераны эти, им больше всех надо!

Все торопятся высказаться здесь, в подсобке, в зале при дамах уже не поговоришь. Хоть бывает и при дамах, ссорятся, вспыхивают как спички.

– А ну замолчали все! – громко объявляет Римма. – Не наговорились?

Олег никогда не нравился Люсе. Что-то она видела в нем, чего Нина не разглядела. Ужас той ночи не проходил долго. В больнице до утра (даже снотворные не помогали), стара-

ясь не стонать, чтобы не помешать соседям, отгоняла от себя искаженное ненавистью зверское лицо. Олег?! Да боже мой, что же должно случиться с человеком, чтобы стал зверем! Бил ногами, а эта, беременная, кричала из коридора: «Дай ей еще!» Звери! Они надеялись, что она умрет. В прошлом году после внематочной Нина была при смерти. Олег, Люся и Зойка дежурили около нее по ночам, сменяя друг друга, при Люсе Олег целовал ей руки, говорил: «Живи, живи, ты должна жить». Люся потом говорила Нине: «Черт возьми, я, кажется, ошиблась в Олеге».

Через полтора месяца Люся умерла, а Олег, как только Нина вышла из больницы, перестал приходить ночевать, а однажды, в воскресенье, явился пьяный и кричал ей: «Вот не померла вовремя, теперь узнаешь, кто ты, а кто я!»

Нина побежала к Люсе, она уже болела, но еще никто не знал, что смертельно. Нина плакала, уткнувшись в клетчатый плед, под которым лежала Люся, а та, растерянная, говорила:

– Подожди ты реветь, это он спьяну.

А вот что оказалось. Соседи вызвали милицию, милиция – скорую.

– Мы пойдем свидетелями! – кричали соседи. – Мы слышали, как он ее бил.

– А видели? – спрашивал милиционер.

В машине Нина потеряла сознание. Очнулась в реанимационной палате. И первое, что представилось ясно: искажен-

ное злобой лицо Олега.

– Сама дура, – гудела наутро парикмахерская, сочувствуя и злорадствуя. – Сто раз ей говорили: «Не отдавай ему всех денег». Ведь сколько ей мать оставила – все отдала.

Никто не сомневался, что Олег позарился на деньги, а как прикарманил их – на что она ему теперь. Оказалось, не только Люся, все видели давно его подлость.

– Умные задним числом! – выходила из себя Зойка. – Где вы раньше-то были, умные? Что-то я от вас не слыхала, чтоб вы его хаяли!

Никто и не хаял, наоборот, всем нравилось, когда он приходил к Нине и устраивал пир. Шикарный парень, бармен в ресторане «Нарва».

– Девочки! Пир! – звал Олег из кухни.

На столе!!! Не во всякий день рождения такое на столе. Даже строгая Римма сдавалась и разрешала повесить табличку на дверь: «Санитарный час».

А деньги все-таки отдавать не следовало. Любовь любовью, а денежки врозь. Хотя, казалось бы, зачем ему ее деньги, ведь и своих, небось, не счесть? Однако же...

Жить трудно. Не нами сказано, но на нас проверено. У Иры-Совы глухонемой ребенок. Известно почему: родила от пьяницы. Красивая статная Ира, грудь как у Лоллобриджиды, а вот поди ж ты, связалась черт-те с кем.

– Сейчас не за красоту берут, а за квартиру. А у меня в коммуналке четырнадцать метров. Какого ж мне принца

ждать? – огрызается Ира, когда в очередной раз кто-нибудь попрекнет за Димку. Димка – общий любимец, чудный золотоволосый мальчик, еще по малости годов не сознающий своей беды.

Жить трудно. Ведь хочется не хуже, чем люди, а как его добудешь, это «не хуже»? Допустим, кожаное пальто с ла-мой? Пока мечтаешь о нем, оно выходит из моды. А шуба из каракуля? Эта никогда из моды не выйдет, но пока соберешь на нее, вытянешься. И вдруг – новости! Девятнадцатилетняя Танька-маникюрша приходит в черной каракулевой шубе. Откуда?! Родственники, оказывается, у нее в Дагестане! Везет же некоторым!

Все начинают мерить перед зеркалом шубу, прямо очередь выстраивается к шубе, завидуют громко, беззлобно, дамы ждут, парятся в ожидалке, но работа не начинается, каждая хочет увидеть себя в дорогой шубе.

План непомерный и еще каждый год увеличивается.

– Нереальный план. Нереальный, – доказывает Римма Григорьевна.

– Ну уж, такие девочки да такой план не выполняют! – пытается обратить разговор в шутку начальник.

Римма Григорьевна понимает начальника: ему надо разместить план, над ним, над Николаем Евдокимовичам, тоже есть начальник, Михаил Михайлович, обаятельный мужчина, но твердый, его не уговоришь. Следующего начальника – Старовойтова И. И. – Римма видела лишь однажды. Он вру-

чал ей грамоту министерства в шикарном кабинете, на дверях которого сияет золотом: «Старовойтов И. И.»

Когда Николай Евдокимович, перестав обращать разговор в шутку, жалуется Римме: «Ну что я могу поделывать? План-то сверху спускают», она тотчас же вспоминает золотые буквы, хотя понимает, что это еще не самый «верх», откуда «спускают план». «Верх» и вообразить себе невозможно, но именно ради него, а вовсе не ради клиентов (как думают клиенты!) работают Зойка, Нина, Таня и все остальные.

– Вытянешься с этим планом, – ворчит Зойка, торопливо прихлебывая чай. – Проходите, следующий!

«Может, в самом деле перейти на подряд? Может, при подряде для людей начнешь работать, а не для плана? – думает Римма, глядя вслед торопящейся Зойке. – Ведь все торопятся, делают иногда кое-как, иначе не успеть...»

Но поверить в то, что при подряде начнешь работать не для плана, – невозможно. Никто и не верит. Даже тихая Таня высказалась вчера за чаем:

– Разве государство с нас когда-нибудь слезет?

И все засмеялись.

– Еще как начнешь для плана работать, чтобы сверхплановые выработать, – рассудительно сказала Ира-Сова.

То, что сверхплановые – себе, это все уже поняли. Но попробуй их выработать, сверхплановые!

– А на следующий год опять план добавят, – зло сказала Зоя.

Похоже на правду, что тут возразишь? Римма – последний маленький начальник в цепи других, крупных и не очень. Она – буфер, она держит всю связку. За что и получает пятнадцать рублей к зарплате.

– Да на что мне эта морока? – взрывается иногда Римма. – За пятнадцать-то рублей?!

Два года назад она еще просто стояла у кресла, она и теперь стоит у кресла, но уже в ранге заведующей точкой. По годам она вовсе не старше всех, но все теперь обращаются к ней как к старшей. На днях Клавдия Васильевна – смех! самой на пенсию скоро! – говорит:

– Ты уж рассуди, Римма, ты ведь у нас старшая.

Но она и сама понимает: последнее слово за ней. И как бы ни была Римма всем остальным близка и понятна, все же лежит и на ней отсвет тех золотых букв, что сияют на дверях высокого кабинета. Вот почему не может она так оголтело, как Зойка, ругать государственную политику.

– Ну ты даешь! – хохочет Зойка. – Государственная политика – это когда Горбачев с Рейганом договариваются. А парикмахерскую на подряд переводить – хрен, а не политика!

Чего они так боятся этого подряда? Перемен боятся? Ведь не старухи заскорузлые – те уж на всю жизнь напуганы. Между прочим, в личном плане почти у каждой – сплошные перемены. Ира-Сова прогнала своего пьяницу, и теперь к ней ходит очень положительный мужик, механик автобазы. Обещает жениться. У Нины Олег третьим мужем был, не везет

ей с мужьями. Впрочем, кому уж так сильно везет? Зойке? Ну вот разве что Зойке. Зойкин муж – шофер на международных рейсах, дальнобойщик. Правда, тряпок ей мало привозит, так, по мелочам. «Честный дурак», – говорит Зойка про своего Витюлю. Зато он не пьет, вообще добрый парень.

Ну и конечно, у Риммы Григорьевны дом – полная чаша, муж заботливый, зарабатывает много, сын – скрипач, в пятнадцать лет уже музыкальную школу кончает, в консерваторию будет поступать.

...Опять скандал! То и дело кто-нибудь из клиентов требует жалобную книгу. Римма Григорьевна, оставив в кресле недокрашенную даму, бросается, как на пулемет.

– Я ее только спросила, я ничего плохого ей не сказала, а она мне: «Не мешайте работать», – строчит, в самом деле как пулемет, не дает слова вставить высокая, в кримпленовых, сто лет назад модных брюках дама.

– Дама, – говорит Римма, – что вы так нервничаете?

– А как же не нервничать? Я ей ничего не сказала, а она мне...

– Я вам ответила, что мы не делаем электрическую завивку. Что вам еще нужно? – сдерживаясь из последних сил, говорит Клавдия Васильевна.

– Мне нужно электрическую завивку, ее всегда раньше делали, – обиженно поворачивается дама к Римме Григорьевне.

– Теперь делают химическую, сделайте химическую, мы

вас сейчас же обслужим, – терпеливо объясняет Римма.

– Химическую? – ужасается дама. – Всюду сплошная химия, пестициды, гербициды, теперь еще и завивка химическая.

Кто-то в очереди не выдерживает, смеется. Дама опять свирепеет:

– Дайте жалобную книгу!

Но тут уже вступается очередь:

– А мы сейчас туда напишем, как вы себя ведете, людям нервы мотаете!

Нервы здесь и впрямь должны быть, что жилы воловьи. Вчера, например, сидят две женщины в очереди на маникюр и громко, как будто всем интересно, рассказывают друг другу, где что достали.

А через ожидалку в это время топает Димка. Пухленький, золотоволосый ангел. Он спал у Риммы Григорьевны в кабинете, а потом, видно, проснулся и вышел. Женщины немедленно переключились на Димку: «Ах! Ох!» И через минуту поняли, что он не говорит и не слышит. Разошались еще пуще: «Какое несчастье, какое горе! Не говорит!»

А Ирка-Сова повернулась – и с ненавистью:

– Чего раскудахтались? Подумаешь, не говорит! А что говорить-то? Где достал, что дают? Это и не говоря поймешь!

Вот так. Обошлось, правда, без жалобной книги.

Есть, конечно, и преимущества в такой работе. В микрорайоне все свои: фирменный магазин «Мясо», овощной,

трикотажный, аптека. Ты ей – «сессун», она тебе – сосиски. Ты его подстрижешь, побреешь без очереди, он тебе мясо оставит. Вырезку, а не кости. Хотя и говорит Зойка, что это мелкие радости, все же иногда помощь. И лекарства редкие доставали для Люси. Только вот не помогло...

Между прочим, сейчас зашевелились все, только и слышишь: эксперимент, эксперимент. Овощному разрешили самим регулировать цены. Девчонки-продавщицы в перерыв прибежали причесываются, смеются:

– Что там регулировать, когда торговать нечем! Привезли гнилую картошку. Да ее хоть по копейке пусти, никто не возьмет. Эксперимент!

У Риммы Григорьевны язык чесался сказать: «Что ж вы смеетесь? Плакать надо, а не смеяться, добиваться чего-то».

Но она промолчала. Что говорить с дурочками? Они над чем хочешь готовы смеяться.

Это же огорчает и в сыне. Грех, конечно, жаловаться на Сашу. Способный, умница. Но вот эта усмешка надо всем! Прямо убивает эта усмешка.

Как-то заговорили о дяде Семене. Он погиб в 34-м по Кировскому делу. Революционер, подпольщик, работал с Кировым в Баку. Отец Риммы, Сашин дедушка, за столом заговорил о старшем брате. Он очень гордится им.

И боже мой, с какой усмешкой слушал его Саша! Слава богу, дедушка не видел, а Римма страдала.

О детях – за чаем ли, в подсобке, в кабинете у Риммы Гри-

горьевны – говорят без конца, но понять детей невозможно. Тех, что уже выросли, конечно. Маленьких-то что не понять? Выросли дети, не похожие на родителей! Разве так когда-нибудь было? Да нет же!

– Моя мать, например, – вылитая бабка, – говорит Зойка. – Да и я похожа на них, такая же языкастая, – смеется она. – Ну а Валерка? Как будто не мы его родили! Вообще с нами ни слова! Не разговаривает – и все! Ничего и не узнаешь про него...

Еще беспокоит всех Камила, дочь Люси. Какой-то она вырастет без матери! Над гробом клялись не оставить Камилу, на поминках так и сказали ей: «Ты теперь наша». Испуганная, молчаливая, как зверек, Камила жалась к плачущей бабушке, непонятно, слышала что-нибудь или нет. «Ты теперь наша». Деньгами, конечно, помогут, но как доглядеть за девочкой?

Все же придется, видимо, переходить на подряд. Не попрешь же против прогресса.

– Это прогресс, Римма Григорьевна, объясните вы своим девочкам. Чего ж они так противятся? – сказал на днях Николай Евдокимович, когда Римма приехала за зарплатой. – Прогресс. Понимаете?

Даже если бы она и понимала, то не могла бы объяснить другим. Скажи она это у себя на собрании, ее на смех поднимут! Какой такой прогресс? Вот если бы от него зарплата по триста рублей, да Ире-Сове с Димкой из коммуналки вы-

браться, да Клавдии Васильевне к пенсии добавить, а то поди проживи на восемьдесят целковых, – вот это был бы прогресс. А так что – мертвое слово. Не убеждают мертвые-то слова.

Но все же – Римма понимает – неотвратим этот переход на подряд. Неотвратим. Не попрешь ведь против прогресса...

Завтра у Нины суд. Будут делить кооперативную квартиру, купленную ею, между ней и Олегом, опять волнения в подсобке. Что же это происходит! Ему в камере сидеть, а не квартиру делить. Почему дело-то не открывают? Видно, не зря он бахвалился: «У меня все схвачено». Подлец такой!

Уголовное дело против Олега, похоже, действительно не возбудят. Милиция отмалчивается, отнекивается: свидетелей прямых, видите ли, нет. А то, что у человека сотрясение мозга было, в синяках еще вся из больницы вышла – мало?

– Надо писать, – решает большинство. – В прокуратуру писать, в газету, жаловаться.

Но не все разделяют это.

– Ой, умрешь! – говорит Клавдия Васильевна. – Прямо там ждут вашу жалобу!

– А неужели сложа руки сидеть, когда над человеком издеваются? – кричит Зойка.

И вот уже все смотрят друг на друга с решимостью и надеждой: что, неужели и это проглотим? Давайте писать, давайте!

А вот и праздник. Сегодня парикмахерская закрывается

на два часа раньше, все идут в ресторан: у Тани-маникюрши свадьба.

Жениха никто не видел. Какая-то она скрытная, эта Таня, молчаливая не по-нашему. Все потому, что новенькая, года еще не работает. Таню утром причесывает Нина. Потом все по очереди друг друга. Между делом, торопясь. Цветы в большом кувшине стоят, радуют глаз на столе у Риммы Григорьевны. Там же, под столом, в большой коробке сервиз немецкий, устроила Лида из аптеки, у нее в магазине «Фаянс-фарфор» сестра работает.

– Ну, девки, какие же вы все красивые! – смеется Зойка, оглядев нарядную разноцветную компанию.

Ресторан на этой же улице, через две остановки, решено идти пешком, коробка тяжеловата, ну да ничего!

Смущенная, покрасневшая Таня встречает всех и знакомит с женихом. А он, представьте себе, танцор из мюзик-холла! Вот это да! Вот этого еще не было! Красивый парень.

– Видали мы красивых, а? – шепчет Клавдия Васильевна Нине.

Нина смеется:

– На Олега намекаете? Типун вам на язык! Нашли кого вспоминать в такой день!

Как хорошо, весело! Весь мюзик-холл здесь. Высокая, тоненькая Таня танцует с женихом. Дай ей Бог счастья!

– Счастья тебе, Таня! – говорит Ира-Сова.

На коленях у нее Димка. Он улыбается и хлопает в ладошки. Таня наклоняется к Ире и целует ее и Димку.

— Будь счастлива, Таня! — Нина, высоко подняв бокал, бросает его об пол. На счастье!

— А ведь нас все же с нового года переведут на подряд, — говорит Римма Григорьевна, наклонясь к Зойке.

— Так давай выпьем за это! — смеется Зойка. — Что нам стоит перейти на подряд? Девочки! Предлагаю тост за переход на подряд! Блокаду пережили, неужели это не переживем?

Зойка родилась в сорок седьмом, остальные еще позже, кроме Клавдии Васильевны, никто не помнит блокаду, но тост понравился, все, смеясь, повторяют:

— Блокаду пережили, а уж это-то как-нибудь!

Мюзикхолльские, хоть и не понимают о чем речь, тоже смеются:

— Конечно, девочки! Да все будет в порядке! Не сомневайтесь вы!

— А мы и не сомневаемся! — кричит кто-то, смеясь.

...Сколько всего переменялось за эти годы! Той парикмахерской уже нет. Умерли безвременно Таня Першина и Галя Попова. Маша (в рассказе она Римма) уволилась, но мы с ней по-прежнему вместе и часто вспоминаем те времена, бурные и горькие.

Как надо было поступить в той круговерти, брать ли на себя парикмахерскую или отказаться? До сих пор это не до

конца ясно... * * *

Я тоскую, как по дому,
по Тбилиси давних лет,
по себе по молодому
с той, которой больше нет.

Е. Евтушенко

Однажды с удивлением обнаруживаю, что очень многие стихи про Грузию написаны в одном ритме. У разных поэтов!

Мне Тифлис горбатый снится,
Сазандарей стон звенит...

(Мандельштам)

Я прошел над Алазанью,
Над причудливой водой...

(Тихонов)

Как-то в сумерки Тифлиса
Я зимой занес стопу.

(Пастернак)

И вот Евтушенко, и даже я в этом ряду: «*Позови меня в Батуми / На террасу в "Салхино"...*» Что-то там, видимо, зву-

чит-звенит в самом воздухе. От гор? От моря? Не знаю.

Батуми, как и всё в жизни, возник случайно. Наталья Вернандер сломала руку, лежала после операции в Склифосовского, Татьяну Борисовну (семь лет неподвижную) надо было срочно устраивать в больницу. Я поехала в Москву. Это 79-й год, я еще работаю в «Авроре» и мечусь между работой и Москвой. Татьяна Борисовна тем же летом умерла. Мы хоронили ее без Наташи, она все еще оставалась в больнице. Помню, как на похоронах я спросила Димку: «Как ты думаешь, им страшно?» – и показала глазами на друзей Татьяны Борисовны, ее ровесников (им тогда было, должно быть, по семьдесят пять – семьдесят семь лет). «Не больше, чем тебе», – мудро ответил Димка. «Да мне вообще не страшно». – «Ну и им тоже».

Как прав был Солженицын, когда писал: «Мы-то не умрем». И как прав был Димка, которому и жить-то оставалось каких-то десять лет...

...Все на свете проходит,
все на свете проходит,
и опять чей-то поезд
от вокзала уходит...
Я не плачу, не плачу,
Ах, честное слово!
Полюби меня снова,
Полюби меня снова.

Но сейчас не про Димку, верного Димку, а про Батуми.

Я решила, что после всего случившегося надо поехать с Наташкой на юг, например, в Батуми, где живет наша подруга Бокерия.

В университете со мной учились грузинки с загадочными именами: Лонда, Ламара, Тинатин... Тинатин (Тина) была замечательна тем, что, увидев в доме на Бауманской портрет Льва Толстого (гравюра на дереве), спросила Наталью: «Это твой дедушка?» А взглянув на великое множество книг, предположила: «Твоя мама, наверное, библиотекарь».

Четвертой в этой грузинской компании была Нелли Бокерия. Вот она-то, совсем не похожая на остальных, и стала нашей подругой.

И вот мы в Батуми.

...Тяжелые листья магнолий
Ложатся ладонями вверх.
А небо ночное от зноя
Становится черным, поверь.
Забрать бы с собою на счастье
Шумящий батумский бульвар,
Да он под дождем морозящим
Не будет таким, как бывал.
Цветастым, горячим, гортанным,
Искрящимся, точно вино,
С висящей на кране портальном
Над портом батумским луной.

Оглянешься: Бог мой! Давно ли?
Распахнута легкая дверь,
И рыжие листья магнолий,
Как прежде, ладонями вверх.

Нелька встретила нас на вокзале со своим приятелем-журналистом, обеспечившим машину, гостиницу, а потом и прием в ресторане, и морскую экскурсию...

Тринадцать дней мы прожили в Батуми и тринадцать дней он, Роберт Перадзе, собкор «Зари Востока» по Аджарии, забросив все свои дела, а заодно и жену с сыном, не отходил от нас ни на шаг. Остроумный, искрометный, совершенно необычный человек, вскруживший голову и себе, и мне.

Фиеста кружится тринадцать дней,
Ты, мне не суженый, гони коней.
Те кони крадены, в испуге ржут.
Я виноградинку в зубах держу.

Когда он в следующем году приехал в Ленинград, я в тот же вечер отправила его обратно. «Выгнала, как собаку», — говорил он, смеясь, Наталье, вернувшись в Москву, а оттуда уже в Батуми.

Коль не уйду, так пропаду —
Закон судьбы суров.
Давайте славить тамаду —
Он стоит лучших слов.

Учусь мешать вино с водой,
Пьянит меня вода.
Но нет вины за тамадой,
Он – прав, он – тамада.
И что там будет, все равно!
О чем жалеть, жалеть,
Когда янтарное вино
Мерцает на столе?
Жаровни гаснут в свой черед,
И утро входит в дверь...
Кто с нами был, тот не умрет
Ни позже, ни теперь,
Бессмертны наши голоса,
И море в синей мгле,
И виноградная лоза
Бессмертна на земле,
И не умчится, отпылав,
На скорых поездах
Любовь, которая была
Высокой, как звезда.
Как удержать в руках звезду?
Как выжить в этот зной?
Последний тост за тамаду,
И этот тост – за мной.

Он умер в 60 лет, какие прекрасные некрологи были о нем
в грузинских газетах...

Конспект романа

«Ева одна в 76 лет имела 15 любовников».

Я и теперь, спустя годы, все так же смеюсь над этой нелепой фразой. Ее придумал Митя, чтобы запомнить номер Надиного телефона. Номера тогда были шестизначные и начинались с букв. Е1-76-15.

Номер и сейчас прежний. Всё изменилось, а номер остался. Впрочем, и номер изменился. Никакой Евы – просто 261...

Я набираю этот номер и вижу, как Надя снимает трубку, снимает осторожно, боится, что разъединят. Она всегда этого боится и, когда в трубке начинает трещать, испуганно говорит: «Что-то с телефоном, сейчас разъединят».

Мы живем в разных городах, связанные одной жизнью, и средство этой связи – телефон, потому что письма я давно разучилась писать. Как и все вокруг. Как и Тамаз.

– Ты писем от меня не жди, я их писать не умею, – сказал он.

Я это помню и писем не жду. Я жду, что он приедет. Когда на работе меня зовут к телефону, я вздрагиваю: вдруг это он? Уже приехал и звонит с аэродрома или из гостиницы.

– Здравствуй, – говорит он, – я здесь, ты рада?

– Здравствуй, – говорит он, – я приехал. Ты меня не забыла?

– Здравствуй...

Тысячу раз я прокручиваю этот разговор. Я никогда не знала, что умею ждать.

– Ты ведь ждать не умеешь, – говорит мне Надя. – Тебе вынь да положь!

Я жду и жду. Было лето, потом осень, и вот уже зима. Идет снег.

– Идет снег, – говорю я мужу, подойдя утром к балконной двери. – Как плохо, уже зима.

– Почему плохо? – спрашивает он.

Как объяснить? Как объяснить всё, что объяснить нельзя?

– Не люблю зиму, – говорю я и иду на кухню готовить завтрак.

Надо завтракать, надо ехать на работу, надо натягивать сапоги, надо говорить: привет! как дела? – надо улыбаться, улыбаться, улыбаться, чтобы не заплакать.

Надю я знаю всю жизнь, мужа – полжизни. Тамаза – два месяца. В детстве мы с Надей и Митей ходили в немецкую группу. Людмила Ивановна, наша немка, не разрешала в своем присутствии говорить по-русски и поощряла ябед. Со всех ног мы бежали к ней, чтобы торжественно крикнуть: Митя *spricht russisch!* Сконфуженного Митю наказывали, но жалости это ни в ком не вызывало. Удивительно, как мы не выросли мерзавцами, спрягая немецкие глаголы!

Иногда втроем – Митя, Надя и я – мы вспоминаем всякие

смешные подробности того далекого времени. Но это бывает редко, мы редко видимся. Они живут в Москве, я – в Ленинграде. Но и там, в Москве, они видятся не чаще, разве что когда я приезжаю.

Я люблю приезжать в Москву. Особенно зимой. Самое лучшее время в Москве – зима. После летней бестолочи, потных и пыльных вокзалов, оголтелых очередей, после осенней изморози и слякоти вдруг возникает в какой-то день тишина высоких сугробов, и где-нибудь на Басманной поскрипывает снег под ногами, и синие тени ложатся на белые деревья в Милютинском саду.

Ничего этого, впрочем, уже нет. Нет сугробов, нет тишины, нет Милютинского сада. Скоро это станет таким же далеким воспоминанием, как немецкая группа в довоенном детстве.

Перед войной

На Моховой

Три мальчика в немецкой группе

Прилежно ловят клецки в супе...

Это – Межиров. Я теперь все время читаю Межирова, он из той жизни, которая была в Батуми.

...Когда начался ливень, настоящий тропический ливень, Межиров сказал: вот вы и застряли у меня. Мы говорили о стихах (Надя даже ввязалась в спор), о стихах и о Батуми.

– Вы не в первый раз в Батуми?

– Что вы! Я жил здесь подолгу. Есть какая-то загадка в этом городе.

Я знала какая, но промолчала. Просто здесь ощущаешь движение времени. В других местах этого не ощущаешь так явственно.

Когда мы вышли, ливень еще продолжался, по улицам неслись потоки воды, машины не ехали – плыли, и в таком виде – с волос течет, платье прилипло – я предстала перед Тамазом.

– Вот что бывает, когда ты вздумаешь променять меня на Межирова, – смеялся он.

Интересно, что сказал бы Митя, расскажи я ему про Батуми. Он решил бы, что я сошла с ума.

* * *

Зима. В самом деле зима. Крупные редкие снежинки опускаются на тротуар и не тают. Я хочу, чтобы приехала Надя. С Надей я могу говорить про Батуми. Она была со мной и все знает и не думает, что я сошла с ума, то есть, конечно, сошла с ума, но так и нужно было, и прекрасно, что было.

– Прекрасно, что это было, – говорит Надя.

Меня в этой фразе не устраивает слово «было». Я хочу, чтобы было и есть. И вот тогда она говорит:

– Не сходи с ума.

От Петроградской до Литейного автобус идет по лучшим

в мире местам. Вдоль Лебяжьей канавки, мимо Летнего сада, Михайловского замка. Мимо дома графини Фикельмон, где, если верить Нащокину, Пушкин был счастлив одной зимней ночью...

Теперь в этом доме Институт культуры и вечерами окна его светятся мертвенным светом люминесцентных ламп. Но сейчас, днем, когда идет снег, ничто здесь не кажется измененным.

Разве это время проходит? Это мы проходим.

Как верно сказано, как безысходно и печально.

Автобус идет по лучшим в мире местам, но мне это не помогает. Иногда помогает, а сегодня – нет. Сегодня началась зима, может, поэтому. Лето кончилось. Осенью оно еще было, а сейчас кончилось. Длинное лето, в которое так много произошло.

– Я несправедлив, но прав, – сказал Тамаз.

Мы ехали в машине, было поздно, я понимала, что ему надо домой, его ждут, а мы ехали в Махинджаури.

– Тебе надо домой.

– Надо. Но я хочу быть здесь. Там – долг, здесь – душа. Я несправедлив, но прав.

Я закрыла глаза, чтобы лучше понять происходящее. Четыре дня назад я не знала, что этот человек есть на свете.

Несправедлив, но прав...

Он умел брать на себя все заботы мира. Вот что было уди-

вительно. Почему я говорю «было»?

– Три тысячи верст ничего не значат, – сказал он мне, прощаясь. – Я не расстаюсь с тобой.

Автобус медленно тащится мимо освещенных окон бывшего дома Фикельмон. Час пик. Я возвращаюсь домой. На сегодня – всё. Если он приедет, то уже только завтра. Я свободна до завтра. Я пуста, как кошелек, из которого вытрясли мелочь.

Двадцать лет назад я приехала в этот город насовсем. Тогда, впрочем, ничего не казалось «насовсем». Насовсем уезжаю из Москвы? Да вы что! Оказалось, насовсем. В Москве на вокзале меня провожала уйма народа, и я помню, как одна из моих подруг сердилась, что я ни на кого не обращаю внимания, а только на чемодан, у которого оторвали ручку.

– Она не сможет элегантно выйти к мужу из вагона, это же ужас! – хохотали вокруг.

Какая ерунда занимала – ручка! – и никакой мысли не было, что все в последний раз, в последний раз. Казалось, ну что особенного – Ленинград, ночь пути. А вышло – другая жизнь. Вот почему я не верю в то, что три тысячи верст ничего не значат. Они значат все, потому что ничего на свете нельзя обратить вспять.

Разве время проходит? Это мы проходим, чтобы не возвращаться.

Между прочим, с Межировым тогда в Батуми мы разго-

варивали в день смерти Симонова. Это и было поводом для встречи: редакция поручила Бокерии попросить у Межирова отклик на смерть Симонова, а мы увязались с ней.

— Я не так уж близко знал его, — рассказывал Межиров. — Но однажды мы вместе ехали с какого-то банкета, и он вдруг сказал, что, если перестанет быть мужчиной, немедленно покончит с собой. Меня тогда поразило, с какой страстной убежденностью это прозвучало...

* * *

Да будем мы к своим друзьям пристрастны!
Да будем думать, что они прекрасны!
Терять их страшно, бог не приведи!

Б. Ахмадулина

Назад, назад в 1982-й год, в тот день, когда на Тверском бульваре в машине Лены Брусковой изумляюсь превратностям судьбы, толкнувшей меня к «Московскому роману».

Но ничего бы и не произошло, если бы не мои прекрасные друзья. Вот уж на что мне везло и везет всю жизнь!

Сколько замечательных людей встретилось мне! Всех и не перечислить. И хоть считается, что только в юности человек обзаводится друзьями, вряд ли это так уж верно. С Нелей Пляцковской мы, например, подружились чуть ли не в пять-

десять лет, а сейчас нельзя и представить себе жизнь без ее заинтересованного участия. Еще мы связаны общей памятью о Наташе Крымовой, нашей любовью к ней.

О некоторых своих друзьях я написала в журнале «Невский, 70». Его несколько лет выпускал Союз журналистов стараниями Гали Кряжевских и Лены Шарковой (она-то и придумала обратить адрес в название), потом уже подключились мы с Мариной, тогда еще Гусевой. Там я придумала рубрику «Столичный гость» и написала о Брусковой, Руденко, о Боре Тархове...

Спасите наши души!

Мы были бы раздавлены жизнью,
если бы не были добры друг к другу...

Генрих Гмайнер

Царское Село было, как известно, сначала переименовано в Детское Село, а потом – в город Пушкин. Как это ни удивительно, его второе название может вскоре вновь оказаться актуальным: дело в том, что именно здесь начнется строительство Детской деревни – SOS, третьей в России. Первая успешно работает в подмосковном Томилине, недавно приняла маленьких сирот новая деревня в Лаврово под Орлом, а в 2000 году должна открыться «наша» деревня.

Давайте уберем кавычки в слове НАША! Давайте будем считать своей обязанностью участвовать в информационной поддержке этого благородного проекта. Но прежде познакомимся с самой идеей и с людьми, продвигающими ее в жизнь и тем спасающими детские израненные души.

Герман Гмайнер, Хельмут Кутин и Елена Брускова

Герман Гмайнер, великий австрийский гуманист, родился в 1919 году в Австрии, в крестьянской семье. После Второй мировой войны, оставившей сиротами тысячи детей, он, сам еще в раннем детстве потерявший мать, задумал создать для обездоленного ребенка настоящий Дом детства, да не один, а целую деревню таких Домов! В тирольском местечке Имст и появилась эта первая деревня-*SOS Kinderdorf*.

Вспоминая первые годы, Гмайнер писал: «Моя идея Киндердорфа находила мало поддержки у людей, к которым я вначале обращался, скорее всего, потому, что это было в послевоенные времена, когда нужда достигла своего пика. И вот мне тогда пришла в голову мысль привлечь к моей идее население. И как только я обратился сначала к тирольцам, а потом ко всем австрийцам, произошло чудо. Откликнулись люди, которым самим не хватало на жизнь... Сначала откликнулись бедные, потом пенсионеры и рабочие. Позже – обычные горожане и богатые. Последние были самыми сдержанными, но и они жертвовали – иногда даже много – особенно после того, как убеждались, что мы действительно хо-

тим делать добро».

Гмайнеровская модель помощи детям получила мировое признание: в ста тридцати странах действуют сейчас Детские деревни, опекаемые международной благотворительной организацией «SOS-Киндердорф Интернациональ». После смерти Германа Гмайнера в 1986 году к рулю этой организации встал воспитанник и соратник Гмайнера Хельмут Кутин. Он вырос в Имсте, в той первой деревне, созданной Гмайнером, и с детства впитал идеи и принципы великого своего учителя.

А на российскую землю эти идеи впервые привезла журналист Елена Брускова. Она услышала о Германе Гмайнере в Австрии, куда на дипломатическую работу был направлен ее муж Владимир Сергеевич Брусков.

Какое счастье быть живым!

Володя Брусков из тех московских мальчишек, что ушли на войну восемнадцатилетними. А ему даже и восемнадцати не исполнилось, и в одном из первых своих боев он был так страшно ранен, что этого на всю его жизнь хватило. «Я мог погибнуть в сорок первом. Значит, все остальные годы – мне в подарок», – говорил он незадолго до смерти.

Все меньше и меньше на земле людей из этого поколения. Хлебнувшие лиха, они умели быть великодушными, добрыми, щедрыми, потому что, в отличие от многих, знали, какое это счастье – быть живым!

Именно таким был Володя Брусков. Таким, наверное, был и Герман Гмайнер. Защищая детей, он защищал жизнь.

Когда в Австрии Брусковы впервые слышали о *Kinderdorf*, их поразила сама система устройства сиротских учреждений, ничего общего не имеющая с обычными нашими детскими домами. Ребенка должна окружать доброта – вот какой принцип исповедовал Гмайнер. Только доброта научит маленького человека радоваться жизни, ценить жизнь и стать в дальнейшем строителем, а не разрушителем мира.

Об Австрии или – плохо, или – ничего

Лена Брускова пришла в «Комсомолку» еще при Алексее Аджубее. Потом был Юрий Воронов, потом Борис Панкин. Славу знаменитым редакторам приносили знаменитые журналисты: Песков, Руденко, Голованов, Брускова, младший Аграновский... Уехав вслед за мужем за границу, Лена стала собственным корреспондентом газеты в Австрии. Но что у нас тогда писали об Австрии (Америке, Германии, Испании...)? Или – плохо, или – ничего. И надо было быть Брусковой, чтобы, ни на что особенно не надеясь, все же изучить этот опыт – поехать в Детскую деревню, посмотреть в счастливые детские глаза, познакомиться с педагогами, психологами...

Что может человек

Несколько лет ей не удавалось рассказать об этом в советской прессе, и ни в каком самом волшебном сне невозможно было представить, что пройдут годы, и под Москвой, в Томилине, появится улица, носящая имя Германа Гмайнера, а на ней – целый чудо-городок из веселых кирпичных коттеджей, в которых зазвонят детские голоса.

Вот так изменилось время. Но разве оно само по себе изменилось? Вовсе нет. Это сделали люди. Их настойчивость, доброта и вера. Помните, у Некрасова: «Воля и труд человека дивные дивы творят»? Это – и про Елену Сергеевну Брускову.

Когда-то она, тогда еще Лена Гусева, числилась дочерью «врага народа». Окончив педагогический институт, работала в школе, потом в годы оттепели пришла в журналистику. Статьи, очерки, книги... и вдруг – такой поворот судьбы и такое блистательное превращение Слова в Дело. Сейчас она – президент Российского комитета «Детские деревни – SOS», и вы уже, конечно, поняли, что без Брусковой никаких детских деревень на российской земле не появилось бы.

* * *

А этот очерк – про Бориса Тархова.

Все мы – из гоголевской «Шинели»

Мальчик рос в уральском городе Орске и, сколько себя помнит, всегда хотел петь. А время было трудное, послевоенное, и мама решила, что сын должен приобрести настоящую профессию, которая и кормила бы, и одевала. Послушно окончив индустриальный техникум, он – полуголодный и полуодетый – все же сорвался туда, куда манило неясное предчувствие судьбы. И дальше все в самом деле получилось как в сказке.

Московские родственники ютились чуть ли не вшестером в одной комнате, и потому незваного гостя определили на ночлег в сарай для дров, а наутро выяснилось, что он приехал напрасно: прием документов во все столичные вузы уже закончился.

– Ну давай я тебе хоть Москву покажу, – предложил двоюродный брат. – А то так и уедешь, ничего не увидев.

И они отправились гулять. Почему возник на их пути дворец культуры завода «Каучук», почему они зашли туда, а услышав из-за двери чье-то пение, заглянули в комнату? Судьба! Провидение!

– Вам что, молодые люди? Хотите спеть? – спросил человек, сидевший у рояля.

– Вот он хочет, – сказал двоюродный брат.

Когда Борис спел, человек, сидевший у рояля, что-то за-

писал на клочке бумаги и предложил прийти завтра по этому адресу. А адресом-то оказался Собиновский переулок, знаменитый ГИТИС, театральный институт, вожделенная мечта многих и многих, а незнакомец из «Каучука», представьте себе, заведовал в этом институте кафедрой вокала.

Вот так все случилось, и через сорок лет на сияющей сцене Московского академического камерного музыкального театра заслуженный артист России Борис Тархов принимал цветы, поздравления, слова восхищения, благодарности, аплодисменты...

Для своего бенефиса он выбрал «Шинель». Трудный трагический спектакль, поставленный Покровским по опере Холминова. Борис Покровский, создатель и бессменный руководитель театра, который все в Москве и зовут театром Покровского, в своем Слове о Тархове назвал его звездой и великолепным русским артистом.

...Все действие оперы разворачивается в пространстве, ограниченном больничной койкой, выдвинутой на просцениум, где Акакий Акакиевич Башмачкин в сером, словно арестантском халате заново проживает свою трагическую историю. У артиста на этом малом пространстве есть лишь два «инструмента», при помощи которых он должен передать зрителям весь ужас обыденной жизни, загнавшей в угол «маленького» человека. Эти инструменты – глаза и голос. Неповторимый голос, звучащий то жалобно, то гневно, и взгляд, полный скорби, муки, мольбы...

Я сказала, что есть лишь два инструмента? Это не так. Чтобы с такой необычайной выразительностью звучал голос, чтобы прямо в душу смотрели глаза, надо прожить свое время, все предыдущие годы не в башне из слоновой кости, а в гуще и грохоте российской действительности, про которую Высоцкий – помните? – спел так: «Эх, рассказать бы Гоголю про нашу жизнь убогую, ей-богу, этот Гоголь бы нам не поверил бы».

Быть включенным в жизнь, всё понимать, всё чувствовать для артиста – необходимость и обязанность. Только так можно «соткать» роль, и только тогда на нее отзовется зритель. Впрочем, это аксиома. Впрочем, по-другому вряд ли и бывает. У Бориса Тархова тем более: он включен в жизнь не только сам по себе, но еще и благодаря своему окружению. В семье три журналиста – жена Лина Тархова, ее сестра Инна Руденко, племянница Таня Чернова. И муж Инны, Ким Костенко, был журналистом... А если за столом даже два журналиста, то это, как известно, всегда летучка. У Лины недавно вышла замечательная книга⁵, в которой многострадальная история страны увидена глазами кремлевских детей и прокомментирована пером острого, честного, умного публициста.

По правде сказать, Тархову сказочно повезло не только тогда, когда он в ДК «Каучук» встретил свою оперную судьбу, но и когда золотоволосая Лина Руденко, студентка факуль-

⁵ Лина Тархова. Заложники Кремля. – М.: АСТ-пресс, 1998.

тета журналистики Московского университета, согласилась стать его женой. Он и сам всегда говорит, что не устает благодарить судьбу за столь щедрый подарок. И еще за красавицу-дочь, артистку Юлию Тархову, за двух прелестных внучек – Сашеньку и Марусичку. И за Плещеево озеро, над которым стоит деревенская изба, где все они живу летом, и за ярославские просторы той русской земли, что, как в «Слове о полку Игореве», всегда «за шеломянем еси».

...Все мы, не только наша литература, в известном смысле «вышли из гоголевской шинели». Вот почему так щемит сердце, когда несчастный Акакий Акакиевич голосом Тархова вопрошает, обращаясь к залу: «За что вы меня обижаете?»

Если будете в Москве, непременно пойдите в Камерную оперу, что на Никольской. Это возле «Славянского базара», где когда-то основоположники Художественного театра, замысливая его, мечтали об актерах, которые принесут с собой на русскую сцену дыхание подлинной жизни. Наверное, Станиславский и Немирович остались бы довольны, увидев и услышав Бориса Тархова.

* * *

Ах, что бы я делала без своих друзей, вступив на писательскую стезю! Во-первых, они были терпеливыми слушателями, а это так важно! Леня Левинский, Галя Зяблова, Ле-

на Швецова... Иногда я писала всего по три-четыре странички. По-настоящему дело продвинулось только в Хаапсалу. Из Москвы туда приехала Наталья, из Ленинграда – Ленька. Не из-за романа, конечно. Отдыхать. А тут я «душу трагедией в углу». Наталья, как всегда, вначале не вполне уверенно: «Нет, хорошо, по-моему, хорошо». Ленька уверенно и решительно: «Замечательно!»

Потом роман читают московские подруги – Инна, Лина, Лена, Юлия Хорицкая, Наталья Крымова. Потом его читает по просьбе Инны Анатолий Стреляный, и вот тут-то все начинается.

«Давайте делать книгу», – предлагает он, в то время редактор отдела прозы в «Советском писателе». Опять в моей жизни возникает (со значением!) улица Воровского – родина моя. Налево – Трубниковский, по правую руку – дом Ростовых, а в голубом особняке (Поварская, 30) – издательство.

Какая книга? У меня же ничего, кроме этого романа нет (рассказ «Инга» не в счет). К тому же уже накатывает болезнь, катастрофически теряю силы, плачу без причин – какая книга?

Но Стреляный звонит мне в Ленинград каждую неделю и строго спрашивает: «Работаете?» И мне стыдно сказать – нет, и я действительно, сама себе изумляясь, сажусь к столу и «работаю». Пишу «Трещину». Это Левинский придумал мне тему: «Напиши про Атоммаш».

В самом деле, почему бы не про Атоммаш, про Волго-

донск, куда мы, авроровцы, несколько раз летали? Два курьезных случая связаны с «Трещиной», но сначала – про само название. Каким неожиданно верным, даже пророческим оно оказалось. Недаром все-таки в «Новом мире» его велели заменить, сказав: «А то будет трещиной между нами и цензурой».

Декабрь 1984 года, 12-й номер «Нового мира». Редакция попросила Гранина написать предисловие. Оно понравилось мне чрезвычайно, особенно фраза про то, что сквозь строки повести «проступают водяные знаки подлинности». Но в телефонном разговоре Даниил Александрович выливает на меня ушат холодной воды, спрашивая:

– Вы думаете, что хорошо написали?..

Забегая вперед, скажу, что в декабре 2003 года он позволил мне, получив мою книгу «Как жаль, что так поздно, Париж!», и сказал:

– Какой прекрасный подарок вы мне сделали.

Потом спросил:

– А что вы сейчас пишете?

– Ничего, – честно ответила я.

– Магда, но в таком случае вы – дура.

Я была очень рада такой похвале.

А вот как «аукнулась» через двадцать лет моя «Трещина».

Недавно вдруг слышу по телевизору (и вижу), что в Волгодонске, где, как известно, взрывались дома, они «начали рушиться сами по себе, давать трещины, потому что когда-то

были построены кое-как, наспех».

«Спешка, как удав, глотала всех...» – вот чем обернулась моя тогдашняя догадка. Курьезы же состояли вот в чем. В журнале «Дон» появилась разгромная рецензия (единственная, а я так ждала, что кто-то заметит).

«В то время, как партия и правительство делают все, чтобы страна получила от гиганта индустрии... – возмущался рецензент, – какая-то там Алексеева в “Новом мире” клеветает...» и т. д.

Примерно в это же время провожаю на Московском вокзале Наталью, она возвращается в Москву, захожу вместе с ней в купе. Когда поезд трогается, соседка спрашивает ее:

– Это Магда Алексеева была с вами?

– Да.

– Какую возмутительную повесть она написала! У нашего директора прекрасная жена, а в повести написано, что жить с такой женщиной – все равно что держать в доме фрезерный станок, включенный на полные обороты!

И сколько Наташа ни пыталась втолковать, что это «не ваш директор, это вымышленный персонаж», – ничего не помогало.

Между прочим, половина той повести – из семейного архива Вернандер; Татьяна Борисовна когда-то рассказала и показала мне письма своего отца, погибшего при Цусиме, дневники его матери... А все остальное, конечно, вымысел.



Вокзалы, всё вокзалы – ожиданья,
Здесь паровозы, полные страданья,
Горят, изнемогая на глазах...

Н. Тихонов

Теперь это всё меньше относится ко мне – вокзалы, паровозы, встречи. А когда-то вся жизнь состояла из них.

– Твою книгу стихов, – говорила Инга, – мы назовем «На вокзалах в дыму».

Не было никакой книги стихов и уже не будет. Да и бог с ней.

На вокзалах в дыму время рвется, как нить.
На вокзалах кончается счастье.

Три года – в разных городах. Три года со дня встречи с Борисом. Боже мой, как это было давно!

Приезжай! Я заброшу тетради,
Перестану писать стихи,
Чтобы сердце свое не тратить
На обычные пустяки.
Приезжай! Я смешаю числа,

Даже время останавливаю —
Облака над Москвой повисли...
Приезжай! Я тебя люблю.
Только помнить о том не надо,
Что безжалостный ждет вокзал.
Приезжай! Я хочу, чтоб рядом
Были снова твои глаза.
Видишь, сколько солнца и света,
Ветер треплет страницы книг.
Жаркий воздух. Сухое лето.
Ожиданий часы и дни.

Тогда были еще паровозы, и вокзальный едкий дым, и поезд из Москвы в Ленинград шел четырнадцать часов!

Что делать с письмами? – вот вопрос. Скопилась гора писем. Что вообще делать с бумагами – свидетельствами жизни? Сжечь, конечно, благо есть печка на даче. Но есть Марина, абсолютно мой человек, мой слушатель и читатель, все понимающий. Только зачем ей ворох не своих радостей, бед и обид? В своих бы разобраться. Это для нее теперь «вокзалы, всё вокзалы – ожидания». Это с ней сбылось то, на что я так странно надеялась (и о чем уже писала здесь), что, может быть, будет еще одна жизнь – в Москве. Дети идут дальше нас – и прекрасно. Каждую ее удачу (в журналистике) проживаю как свою. Но дети идут не только дальше нас, но и дальше от нас. «Что же сетовать теперь?..» Теперь, когда та самая нить времени истончилась, истончилась... И видимся

редко, а по-другому и быть уже не может.

Письма (есть просто письма, а есть такие – как счастье), рукописи, телеграммы, записки... Бумажные свидетельства жизни. «Год – это уже неплохо. Алька». Это в 1957-м из Кембриджа, где Алька Ермак работала. (В мае 2006 года, если доживем, будет пятьдесят – золотая свадьба, вот тебе и «неплохо».)

«Гони по этваренке завтра утром». Над этой телеграммой ломала голову вся моя московская компания. Какая такая загадочная «этваренка»? Я, наконец, догадалась, что это – искаженный на телеграфе Маяковский: «Гони, поэт, варенье». А вот записка от Инги Юрченко и Лиды Квасниковой: «Мы пришли, а тебя нет». Листок свернут, а сверху: «Ма – где?»

Я в самом деле считаю, что бог с ней, с неосуществленной книгой стихов. Ушло время. Оно уходит-проходит и уносит с собой остроту желаний. Как мне вначале хотелось, чтобы «Как жаль, что так поздно...» заметила критика! Ничего этого не случилось, заметили только «свои». Замечательную (и первую!) рецензию написала Галя Нечаева. Потом Лена Брускова в «Культуре», Вернандер в «Книжном обозрении» (чего ей стоило «пробить»!). А из чужих, профессиональных критиков – никто. Ну и пусть, сейчас уже ничего и не надо: время ушло. И только Наталья все еще носитя с идеей издать мои стихи. Она их помнит лучше, чем я. Вместе с Володькой Беловым они хотели собрать, выпустить... Но и Володьки уже нет. Он умер внезапно, в электричке, по

дороге в Москву.

Это он так и не стал поэтом. И я вроде собиралась про это написать, а потом все куда-то забросила... Это даже имело название – Пролог.

Пролог

Он хотел написать рассказ про женщину, желавшую воспитать сына поэтом, а тот так и не стал поэтом, промаялся над листом бумаги всю жизнь, сочинял, сочинял, но разве стихи сочиняют? Они льются, как дождь, успевай подставлять тазы и ведра.

И вот уже нет никого: ни той несчастливой женщины – ничего из ее затеи не вышло, ни ее сына, ни его самого. А меня все мучает память о них. Почему? Может, потому, что они остались во времени, про которое ничего не сказано? То есть сказано очень много, километры слов, но что-то главное теряется за горизонтом – не разглядеть, что-то дрожит в зеленоватом мареве над раскаленным асфальтом в жаркий июльский день.

– Ночью, когда много звезд, пахнет звездной пылью...

– Это кто сказал?

– Это я сейчас придумал.

– Красиво... А днем пахнет просто пылью. Как сейчас.

Возвращались с пляжа, из Серебряного Бора, лето, июль, жара. И только в метро спасительный сквозняк гулял меж

мраморных колонн и раздувал ее полотняную юбку в складку.

– *Мокры ее волосы после купанья, / и в грустных глазах огонек прощанья...*

– Это кто написал?

– Не помню.

– А я помню. Это – Долматовский. Я была в него влюблена после восьмого класса, в его фотографию на обложке огоньковской книжки. Даже разузнала в справочном его адрес.

– Зачем?

– Не знаю. Он жил здесь, на Гоголевском бульваре, я поднялась на четвертый этаж вон в том сером доме – видишь? – и постояла у его дверей.

– Дурочка.

– Ничего не дурочка. Не знаешь ты девчачьей психологии... Да нет, конечно, дурочка. Жаль только, что уже не дурочка и знаю, что Долматовский – никакой поэт.

– А помнишь «Виллу Виола»?

– Да. *«Я все о Наташе, Наташе, Наташе, а ты все о Нине, о Нине, о Нине...»*

– Это про меня.

– Что за Нина? Кто такая?

– Ничего не знаю про Нину.

– А про Наташу?

– Про Наташу все знаю. И как ветер ее юбку раздувает. Ревную к ветру!

– Ох, Аркадий, не говори красиво!

– Что еще за Аркадий?

– Зааркадий, заарканил...

Она срывается, хохоча, по бульвару, он догоняет ее и на секунду прижимает к себе, целоваться при всех еще не принято, и он нехотя разжимает кольцо и долго ощущает пустоту в руках...

Вот он-то и не стал поэтом. А она из полудетской влюбленности нырнула в водоворот настоящей любви, нахлебалась, наревелась, намучилась, стала счастливой и мудрой, мудрее своего взрослого избранника с его беременной женой, с войной за плечами, с уже напечатанной книгой первых рассказов, с его ревностью к ее полудетской любви.

– Напишу рассказ, как мальчишка собирался стать поэтом, потому что так захотела мать, помешанная на стихах, – зло говорил он.

– Чего же ты злишься?

– Разве я злюсь?

– Злишься, злишься. А еще утверждал, что его мать из лучшего на земле поколения.

...Смыло волной, водой, надо было взглядеться, вслушаться, следовало бы запомнить, каким оно было, это поколение. Запомнить? И что делать с этой памятью? Что вообще делать, если волной, водой смывает и смывает поток за потоком?..

Володькину мать Розалию Яковлевну в юности (те самые

20-е–30-е годы!) звали Розинкой. У нее были какие-то длинные мучительные отношения с поэтом Георгием Шенгели:

И щелкнула застежка бус,
И снова, как в былые годы,
К твоим ногам бросаю груз
Вдруг опостылевшей свободы.

Эти ее стихи (со ссылкой на нее, разумеется) я взяла в повесть «Что будет». Мы всегда подозревали, что Володька – сын не Белова, а Шенгели, но доподлинно этого и сам Володька, я думаю, не знал. Но когда Шенгели умер, он рыдал в голос в доме у Вернандер. В том старом бревенчатом доме на Бауманской.

И вот уже нет на свете Володьки. И нет Иры Дешко, нашей «киевской Ирки». Как пронзила нас ее внезапная смерть! И последние слова, про которые нам рассказали: «Не хочу».

* * *

Таинственна ли жизнь еще?
Таинственна еще.

А. Кушнер

В 1976 году мы с Борисом уехали с Васильевского на Петроградскую. Первая в нашей жизни отдельная кварти-

ра, но «коммунальный синдром» еще долго преследует меня в снах: будто переехали в новую квартиру, а там (как же так?!) – соседи. Теперь соседи только внизу, вверх и сбоку. «Сбоку», то есть на той же лестничной площадке – Коркины, Юра и Федя. А была Лена, с которой я очень дружила. Лена умерла, долго и тяжело болела. Я через стенку буквально чувствовала ее отчаянье, как теперь Юрину безутешность. Мы и попали-то в этот дом благодаря Лениной матери, которой очень хотелось, чтобы в соседках у ее дочери оказалась я.

Однажды мы заливаем тех, что внизу. Старый татарин на ломаном русском ругается матом: «Думаешь, если ты на черной “Волге” едешь, тебе все позволено!» «Триста лет мы жили под татарами – теперь они под нами», – замечает по этому поводу Борис.

«Были сборы недолги – сели в черные “Волги”», – острил Юра Николаев. Между прочим, вот как разительно изменилась жизнь: когда мы сюда приехали, наши «жигули» были единственными во дворе – сейчас не пройти, не проехать.

На черной служебной «Волге» я в самом деле ездила пять лет, пока была редактором «Ленинградского рабочего», но потеря этой «привилегии» не произвела на меня никакого впечатления, а вот то, что, как игрушку из рук, отняли газету... Именно к этому времени я, как мне казалось, по-настоящему научилась в ней работать, понимать, ориентироваться в жизни города, области... Так было жалко – не передать!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.